

Пушкин и мiр с царями. Книга вторая.

Вячеслав Орлов

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Вячеслав Орлов

**Пушкин и мир с
царями. Книга вторая.**

«Автор»

2026

Орлов В. Н.

Пушкин и мир с царями. Книга вторая. / В. Н. Орлов — «Автор»,
2026

Вторая часть духовной биографии Пушкина, единственного в этом роде исследования, выполненного на широком историческом фоне .

© Орлов В. Н., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
В.Н. ОРЛОВ	6
ПУШКИН И МИР С ЦАРЯМИ	7
КНИГА ВТОРАЯ.	8
МЕРА.	9
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.	10
ВЫБОР.	11
Глава первая.	12
Глава вторая.	25
Глава третья.	38
Глава четвёртая.	47
Глава пятая.	64
Глава шестая.	78
Глава седьмая.	88
Конец ознакомительного фрагмента.	94

Пушкин и мир с царями. Книга вторая.

Глава

В.Н. ОРЛОВ

ПУШКИН И МИР С ЦАРЯМИ

Книга жизни на широком русском фоне.

Посвящаю этот труд дочери Ирине и внучке Марии

КНИГА ВТОРАЯ.

МЕРА.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Часть третья. Выбор.

1. Глава первая. Конечно, были ожидания...
2. Глава вторая. По самым разным направлениям...
3. Глава третья. Быть может – счастье это было...
4. Глава четвёртая. А Он ведь нас предупреждает...
5. Глава пятая. Кто хочет видеть – тот увидит...
6. Глава шестая. И в горы трудно подниматься...
7. Глава седьмая. Что выбор? Выбор – расставанье...
8. Глава восьмая. Дорога к цели вожденной...

Часть четвёртая. Воздаяние.

1. Глава первая. Так вот каков он, брак законный!..
2. Глава вторая. Одно к другому приспособить...
3. Глава третья. Ещё его носили крылья...
4. Глава четвёртая. И есть желанье размахнуться...
5. Глава пятая. И что-то вяжется – как будто...
6. Глава шестая. Что вы зовёте неудачей...
7. Глава седьмая. Мы все к гармониям стремимся...
8. Глава восьмая. А сердце женское – не камень...
9. Глава девятая. Движенье? Да, движенье было...
10. Глава десятая. Ещё не гром, ещё не буря...
11. Глава одиннадцатая. Задетый гнусной клеветой...
12. Глава двенадцатая. Печальный выбор этот страстный...
13. Глава тринадцатая. Да! На пути души к спасенью...
14. Глава четырнадцатая, последняя. И станет истина виднее...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

ВЫБОР.

Глава первая.

Конечно, были ожидания,

Но как сюрпризы велики...

22 августа 1826 года в Москве состоялась торжественная церемония коронации императора Николая Павловича, или, как это ещё тогда называлось, таинство венчания на царство. После коронационных торжеств император на некоторое время остался в Москве. В числе прочих дел он приказал привезти Пушкина в Москву для серьёзного личного разговора. Датой встречи государь назначил восьмое сентября.

Богатырь-фельдгегерь верхом за трое суток промчался из Москвы до Михайловского и поздним вечером третьего сентября уже постучал в двери барского дома Пушкиных, произведя своим появлением немалый переполох.

Вот рассказ дворового человека Пушкиных Петра об этом событии: «Приехал вдруг ночью жандармский офицер из города, велел сейчас в дорогу собираться, а зачем – неизвестно. Арина Родионовна растужилась, навзрыд плачет. Александр-то Сергеич ее утешать: «Не плачь, мама, – говорит, – сыты будем; царь хоть куды ни пошлет, а все хлеба даст». Жандарм торопил в дорогу, да мы все позамешкались: надо было в Тригорское посылать за пистолетами, они там были оставши: ну, Архипа-садовника и послали. Как привез он пистолеты-то, маленькие такие были в ящичке, жандарм увидел и говорит: «Господин Пушкин, мне очень ваши пистолеты опасны». – «А мне какое дело? Мне без них никуда нельзя ехать; это моя утеха».

По другим свидетельствам, Пушкин не знал, чего ожидать от приезда фельдгегеря, и сразу при его входе в дом бросил в горящую печь некоторые свои бумаги, которые невозвратно погибли, а среди них находились и некоторые его записки, обещанные им ранее Вяземскому, а также некоторые стихи. В словах же дворового человека интересна речь самого Пушкина к няне – читатель по фразе поэта может обратить внимание на его мастерское владение внутренней стилистикой разговорной речи и умение поэта говорить просто и почти афористично. Также интересна история с пистолетами – даже не зная своей дальнейшей судьбы, Пушкин всё равно ни при каких обстоятельствах не забывал о предстоящей дуэли с Фёдором Толстым.

Утром четвёртого сентября Пушкин и фельдгегерь выехали в Москву. Провожатый по дороге несколько успокоил поэта, тот немного развеселился и даже начал шутить. Дорога до первопрестольной была преодолена максимально быстро и, как и было приказано, к шестнадцати часам дня восьмого сентября, Пушкин в неприбранном дорожном виде был доставлен в московский Кремль в покои императора.

Ничего хорошего от встречи с верховным властителем поэт не ожидал. В задний карман брюк он положил сложенный листок бумаги с недавно написанным стихотворением «Пророк». Теперь это стихотворение широко известно, его изучают в курсе средней школы, но к его тексту Пушкин дописал такой куплет:

Восстань, восстань, пророк России,
В позорны ризы облекись,
Иди, и с вервием на вые
К убийце гнусному явись.

Поэт закономерно предполагал суровый разговор с царём, итогом которого ему виделась ссылка и в конце разговора он хотел вручить царю стихотворный текст своего мужественного обращения. Однако всё пошло совершенно не так, как предполагалось в воспалённом воображении Пушкина по дороге из Михайловского в Москву.

О разговоре царя с Пушкиным написано очень много, мы не будем здесь слишком подробно перечислять все известные по этой теме подробности, но кое о чём сказать будем обязаны. В изложении графа Струтынского сохранился интереснейший рассказ самого Пушкина о тогдашней встрече с императором. В советское время этот рассказ найти было очень сложно по причине того, что император в нём выглядит мудрым и ответственным государственным деятелем, что никак не соответствовало тогдашнему официальному образу Николая Первого. Желающие могут легко найти весь текст рассказа Пушкина Струтынскому, мы же здесь приведём его часть: «Я знаю его (государя – прим. авт.) лучше, чем другие, потому что у меня к тому был случай. Не купил он меня золотом, ни лестными обещаниями, потому что знал, что я непродан и придворных милостей не ищущ; не ослепил он меня блеском царского орла, потому что в высоких сферах вдохновения, куда достигает мой дух, я привык созерцать сияния гораздо более яркие; не мог он и угрозами заставить меня отречься от моих убеждений, ибо кроме совести и Бога я не боюсь никого, не дрожу ни перед кем. Я таков, каким был, каким в глубине естества моего останусь до конца дней: я люблю свою землю, люблю свободу и славу отечества, чтю правду и стремлюсь к ней в меру душевных и сердечных сил; однако я должен признать, (ибо отчего же не признать), что Императору Николаю я обязан обращением моих мыслей на путь более правильный и разумный, которого я искал бы еще долго и может быть тщетно, ибо смотрел на мир не непосредственно, а сквозь кристалл, придающий ложную окраску простейшим истинам, смотрел не как человек, умеющий разбираться в реальных потребностях общества, а как мальчик, студент, поэт, которому кажется хорошо все, что его манит, что ему льстит, что его увлекает!

Помню, что, когда мне объявили приказание Государя явиться к нему, душа моя вдруг омрачилась – не тревогою, нет! Но чем-то похожим на ненависть, злобу, отвращение. Мозг оцетинился эпиграммой, на губах играла насмешка, сердце вздрогнуло от чего-то похожего на голос свыше, который казалось призывал меня к роли исторического республиканца Катона, а то и Брута. Я бы никогда не кончил, если бы вздумал в точности передать все оттенки чувств, которые испытал на вынужденном пути в царский дворец, и что же? Они разлетелись, как мыльные пузыри, исчезли в небытие, как сонные видения, когда он мне явился и со мной заговорил. Вместо надменного деспота, кнутодержавного тирана, я увидел человека рыцарски-прекрасного, величественно-спокойного, благородного лицом. Вместо грубых и язвительных слов угрозы и обиды, я слышал снисходительный упрек, выраженный участливо и благосклонно.

“Как, – сказал мне Император, – и ты враг твоего Государя, ты, которого Россия вырастила и покрыла славой, Пушкин, Пушкин, это не хорошо! Так быть не должно”.

Я онемел от удивления и волнения, слово замерло на губах. Государь молчал, а мне казалось, что его звучный голос еще звучал у меня в ушах, располагая к доверию, призывая о помощи. Мгновения бежали, а я не отвечал.

“Что же ты не говоришь, ведь я жду”, – сказал Государь и взглянул на меня пронзительно.

Отрезвленный этими словами, а еще больше его взглядом, я наконец опомнился, перевел дыхание и сказал спокойно: “Виноват и жду наказания”.

“Я не привык спешить с наказанием, – сурово ответил Император, – если могу избежать этой крайности, бываю рад, но я требую сердечного полного подчинения моей воле, я требую от тебя, чтоб ты не принуждал меня быть строгим, чтоб ты помог мне быть снисходительным и милостивым, ты не возразил на упрек во вражде к твоему Государю, скажи же почему ты враг ему?”

“Простите, Ваше Величество, что, не ответив сразу на Ваш вопрос, я дал Вам повод неверно обо мне думать. Я никогда не был врагом моего Государя, но был врагом абсолютной монархии”.

Государь усмехнулся на это смелое признание и воскликнул, хлопая меня по плечу:

“Мечтания итальянского карбонарства и немецких тугендбундов! Республиканские химеры всех гимназистов, лицеистов, недоваренных мыслителей из университетской аудитории. С виду они величавы и красивы, в существе своем жалки и вредны! Республика есть утопия, потому что она есть состояние переходное, ненормальное, в конечном счете всегда ведущая к диктатуре, а через нее к абсолютной монархии. Не было в истории такой республики, которая в трудную минуту обошлась бы без самоуправства одного человека и которая избежала бы разгрома и гибели, когда в ней не оказалось дельного руководителя. Силы страны в сосредоточенной власти, ибо где все правят – никто не правит; где всякий законодатель, – там нет ни твердого закона, ни единства политических целей, ни внутреннего лада. Каково следствие всего этого? Анархия!”

Государь умолк, раза два прошелся по кабинету, вдруг остановился предо мной и спросил: “Что ж ты на это скажешь, поэт?”

“Ваше Величество, – отвечал я, кроме республиканской формы правления, которой препятствует огромность России и разнородность населения, существует еще одна политическая форма – конституционная монархия”.

“Она годится для государств, окончательно установившихся, – перебил Государь тоном глубокого убеждения, – а не для таких, которые находятся на пути развития и роста. Россия еще не вышла из периода борьбы за существование, она еще не добилась тех условий, при которых возможно развитие внутренней жизни и культуры. Она еще не достигла своего предназначения, она еще не оперлась на границы необходимые для ее величия. Она еще не есть вполне установившаяся, монолитная, ибо элементы, из которых она состоит до сих пор, друг с другом не согласованы. Их сближает и сплавляет только самодержавие, неограниченная, всемогущая воля монарха. Без этой воли не было бы ни развития, ни спайки и малейшее сотрясение разрушило бы все строение государства. Неужели ты думаешь, что будучи конституционным монархом я мог бы сокрушить главу революционной гидры, которую вы сами, сыны России вскормили на гибель ей? Неужели ты думаешь, что обаяние самодержавной власти, врученное мне Богом, мало содействовало удержанию в повиновении остатков Гвардии и обузданию уличной черни, всегда готовой к бесчинству, грабежу и насилию? Она не посмела подняться против меня! Не посмела! Потому что самодержавный царь был для нее представителем Божеского могущества и заместителем Бога на земле, потому что она знала, что я понимаю всю великую ответственность своего призвания и что я не человек без закала и воли, которого гнут бури и устрашают громы”.

Когда он говорил это, ощущение собственного величия и могущества, казалось, делало его гигантом. Лицо его было строго, глаза сверкали, но это не были признаки гнева, нет, он в эту минуту не гневался, но испытывал свою силу, измерял силу сопротивления, мысленно с ним боролся и побеждал. Он был горд и в то же время доволен. Но вскоре выражение его лица смягчилось, глаза погасли, он снова прошелся по кабинету, снова остановился предо мною и сказал:

“Ты еще не все высказал, ты еще не вполне очистил свою мысль от предрассудков и заблуждений, может быть, у тебя на сердце лежит что-нибудь такое, что его тревожит и мучит? Признайся смело, я хочу тебя выслушать и выслушаю”.

“Ваше Величество, – отвечал я с чувством, – Вы сокрушили главу революционной гидры. Вы совершили великое дело, кто станет спорить? Однако... есть и другая гидра, чудовище страшное и губительное, с которым Вы должны бороться, которое должны уничтожить, потому что иначе оно Вас уничтожит!”

“Выражайся яснее, – перебил Государь, готовясь ловить каждое мое слово”.

“Эта гидра, это чудовище, – продолжал я, – самоуправство административных властей, развращенность чиновничества и подкупность судов. Россия стонет в тисках этой гидры, поборов, насилия и грабежа, которая до сих пор издевается даже над высшей властью. На всем пространстве государства нет такого места, куда бы это чудовище не досягнуло, нет сословия, которого оно не коснулось бы. Общественная безопасность ничем у нас не обеспечена, справедливость в руках самоуправств! Над честью и спокойствием семейств издеваются негодяи, никто не уверен ни в своем достатке, ни в свободе, ни в жизни. Судьба каждого висит на волоске, ибо судьбою каждого управляет не закон, а фантазия любого чиновника, любого доносчика, любого шпиона. Что ж удивительного, Ваше Величество, если нашлись люди, чтоб свергнуть такое положение вещей? Что ж удивительного, если они, возмущенные зрелищем униженного и страдающего отечества подняли знамя сопротивления, разожгли огонь мятежа, чтоб уничтожить то, что есть и построить то, что должно быть: вместо притеснения – свободу, вместо насилия – безопасность, вместо продажности – нравственность, вместо произвола – покровительство законов, стоящих надо всеми и равного для всех! Вы, Ваше Величество, можете осудить развитие этой мысли, незаконность средств к ее осуществлению, излишнюю дерзость предпринятого, но не можете не признать в ней порыва благородного. Вы могли и имели право покарать виновных, в патриотическом безумии хотевших повалить трон Романовых, но я уверен, что даже карая их, в глубине души, Вы не отказали им ни в сочувствии, ни в уважении. Я уверен, что если Государь карал, то человек прощал!”

“Смелы твои слова, – сказал Государь сурово, но без гнева, – значит, ты одобряешь мятеж, оправдываешь заговорщиков против государства? Покушение на жизнь монарха?”

“О нет. Ваше Величество, – вскричал я с волнением, – я оправдываю только цель замысла, а не средства. Ваше Величество умеете проникать в души, соблаговолите проникнуть в мою и Вы убедитесь, что все в ней чисто и ясно. В такой душе злой порыв не гнездится, а преступление не скрывается!”

“Хочу верить, что так, и верю, – сказал Государь, более мягко, – у тебя нет недостатка ни в благородных побуждениях, ни в чувствах, но тебе не достает рассудительности, опытности, основательности. Видя зло, ты возмущаешься, содрогаешься и легкомысленно обвиняешь власть за то, что она сразу не уничтожила это зло и на его развалинах не поспешила воздвигнуть здание всеобщего блага. Знай, что критика легка и что искусство трудно: для глубокой реформы, которую Россия требует, мало одной воли монарха, как бы он не был тверд и силен. Ему нужно содействие людей и времени. Нужно соединение всех высших духовных сил государства в одной великой передовой идее; нужно соединение всех усилий и рвений в одном похвальном стремлении к поднятию самоуправления в народе и чувства чести в обществе. Пусть все благонамеренные, способные люди объединятся вокруг меня, пусть в меня уверуют, пусть самоотверженно и мирно идут туда, куда я поведу их, и гидра будет побеждена! Гангрена, разъедающая Россию, исчезнет! Ибо только в общих усилиях – победа, в согласии благородных сердец – спасение. Что же до тебя, Пушкин, ты свободен. Я забываю прошлое, даже уже забыл. Не вижу пред собой государственного преступника, вижу лишь человека с сердцем и талантом, вижу певца народной славы, на котором лежит высокое призвание – воспламенять души вечными добродетелями и ради великих подвигов! Теперь... можешь идти! Где бы ты ни поселился, – ибо выбор зависит от тебя, – помни, что я сказал, и как с тобой поступил, служи родине мыслью, словом и пером. Пиши для современников и для потомства, пиши со всей полнотой вдохновения и совершенной свободой, ибо цензором твоим – буду я”.

Мы не случайно привели здесь этот довольно пространный текст, который можно было бы назвать авторизованным интервью Струтынского с Пушкиным – без сомнения, граф внёс свои монархические поправки в слова самого поэта. Но сам смысл разговора несомненно в передаче графа остался точно сохранённым. Повторимся: в советское время эти воспоминания

практически были недоступны обычному читателю по понятной причине – власти был неудобен не только мудрый и полный сил государь, но и поэт, признающий необходимость хотя бы конституционной монархии и почитающий при этом своего государя, коммунистам был нужен не реальный Пушкин, а нужен был придуманный ими Пушкин-революционер.

Некоторые детали разговора в этом рассказе Струтынского не упомянуты. Например, известно, что государь спросил Пушкина о том, где бы он оказался 14 декабря, пояись он в тот момент в столице. Пушкин не задумываясь ответил, что он был бы на Сенатской площади вместе со своими друзьями. По свидетельству нескольких друзей Пушкина, царь предложил ему быть личным цензором его произведений после того, как Пушкин в том же разговоре пожаловался на чрезмерную строгость государственной цензуры. Пользуясь случаем, Пушкин объяснил государю смысл стихотворения «Андрей Шень», отдельно обращая внимание императора на то, что стихотворение было написано задолго до декабрьского выступления и посвящено конкретному историческому моменту.

К концу разговора Пушкин почувствовал себя настолько свободно, что по позднему свидетельству самого государя, стал опираться спиной на стол, и в конце концов, находясь в возбуждённом состоянии, чуть вообще не уселся на него. Этот рассказ император закончил мыслью о том, что при разговоре с поэтом никогда нельзя допускать не положенную по делу слабину.

А теперь приведём ещё одну часть той же беседы графа Струтынского с Пушкиным, также почти не печатавшуюся в Советском Союзе: «...Молодость, – сказал Пушкин, – это горячка, безумие, напасть. Ее побуждения обычно бывают благородны, в нравственном смысле даже возвышенны, но чаще всего ведут к великой глупости, а то и к большой вине. Вы, вероятно, знаете, потому что об этом много писано и говорено, что я считался либералом, революционером, конспиратором, – словом, одним из самых упорных врагов монархизма и в особенности самодержавия. Таков я и был в действительности. История Греции и Рима создала в моем сознании величественный образ республиканской формы правления, украшенной ореолом великих мудрецов, философов, законодателей, героев; я был убежден, что эта форма правления – наилучшая. Философия XVIII века, ставившая себе единственной целью свободу человеческой личности и к этой цели стремившаяся всею силою отрицания прежних социальных и политических законов, всею силою издевательства над тем, что одобрялось из века в век и почиталось из поколения в поколение, – эта философия энциклопедистов, принесшая миру так много хорошего, но несравненно больше дурного, немало повредила и мне. Крайние теории абсолютной свободы, не признающей над собою ничего ни на земле, ни на небе; индивидуализм, не считавшийся с устоями, традициями, обычаями, с семьей, народом и государством; отрицание всякой веры в загробную жизнь души, всяких религиозных обрядов и догматов, – все это наполнило мою голову каким-то сияющим и соблазнительным хаосом снов, миражей, идеалов, среди которых мой разум терялся и порождал во мне глупые намерения.

Мне казалось, что подчинение закону есть унижение, всякая власть – насилие, каждый монарх – угнетатель, тиран своей страны, и что не только можно, но и похвально покушаться на него словом и делом. Не удивительно, что под влиянием такого заблуждения я поступил неразумно и писал вызывающе, с юношеской бравадой, навлекающей опасность и кару. Я не помнил себя от радости, когда мне запретили въезд в обе столицы и окружили меня строгим полицейским надзором. Я воображал, что вырос до размеров великого человека и до чертиков напугал правительство. Я воображал, что сравнялся с мужами Плутарха и заслужил посмертного прославления в Пантеоне!

Но всему своя пора и свой срок. Время изменило лихорадочный бред молодости. Все ребяческое слетело прочь. Все порочное исчезло. Сердце заговорило с умом словами небесного откровения, и послушный спасительному призыву ум вдруг опомнился, успокоился, усмирился; и когда я осмотрелся кругом, когда внимательнее, глубже вникнул в видимое, – я понял,

что казавшееся донныне правдой **было ложью**, чтимое – **заблуждением**, а цели, которые я себе ставил, **грозили преступлением, падением, позором!** Я понял, что абсолютная свобода, не ограниченная никаким божеским законом, никакими общественными устоями, та свобода, о которой мечтают и краснобайствуют молокососы или сумасшедшие, невозможна, а если бы была возможна, то была бы гибельна как для личности, так и для общества; что без законной власти, блюдушей общую жизнь народа, не было бы ни родины, ни государства, ни его политической мощи, ни исторической славы, ни развития; что в такой стране, как Россия, где разнородность государственных элементов, огромность пространства и темнота народной (да и дворянской!) массы требуют мощного направляющего воздействия, – в такой стране власть должна быть объединяющей, гармонизирующей, воспитывающей и долго еще должна оставаться диктаториальной или самодержавной, потому что иначе она не будет чтимой и устрашающей, между тем, как у нас до сих пор неперемное условие существования всякой власти – чтобы перед ней смирялись, чтобы в ней видели всемогущество, полученное от Бога, чтобы в ней слышали глас самого Бога. Конечно, этот абсолютизм, это самодержавное правление одного человека, стоящего выше закона, потому что он сам устанавливает закон, не может быть неизменной нормой, предопределяющей будущее; самодержавию суждено подвергнуться постепенному изменению и некогда поделиться половиною своей власти с народом. Но это наступит еще не скоро, потому что скоро наступить **не может и не должно**.

– Почему не должно? – переспросил Пушкина граф.

– Все внезапное вредно, – ответил Пушкин, – Глаз, привыкший к темноте, надо постепенно приучать к свету. Природного раба надо постепенно обучать разумному пользованию свободой. Понимаете? Наш народ еще темен, почти дик; дай ему послабление – он взбесится».

Эту часть беседы Пушкина со Струтынским хронологически нам надо было бы поместить в книге дальше, потому что разговор этот состоялся намного позже сентября 1826 года и ярко показывает уровень изменившегося государственноческого мышления нашего великого поэта, но с одной стороны не хотелось разбивать цельное свидетельство на части, а с другой стороны хотелось наконец проиллюстрировать то, что заметил ещё в двенадцатилетнем Пушкине его лицейский друг Пушин – помните, как в своих воспоминаниях о петербургском их общем первом знакомстве он сразу заметил глубокомысленность Пушкина, его стремление вникнуть в суть очень сложных для понимания вещей, ту самую глубокомысленность, которую он так не любил публично демонстрировать перед кем попало просто ради рисовки.

Итак, встреча с императором завершилась совершенно неожиданно – поэт получил полную свободу действий и перемещений и получил свободу от цензуры. От неожиданности Пушкин совершенно забыл о своём протестном стихотворении, положенном в задний карман брюк. Выходя от императора и спускаясь по лестнице он вдруг увидел на ступеньках свою собственную бумажку с текстом «Пророка». Поэт поднял её, засунул в карман, и с величайшим облегчением в душе отправился в гостиницу «Европа» на Тверской улице. Оттуда освобождённый узник сразу направился к своему дяде Василию Львовичу, который жил неподалёку.

У Василия Львовича Пушкина его стали кормить ужином, но не успел он съесть первое блюдо, как к поэту явился первый московский гость – это был Сергей Александрович Соболевский, знакомец Пушкина ещё по Петербургу, где его, ещё пятнадцатилетнего юношу со своим братом познакомил Лев Сергеевич Пушкин. Соболевский был моложе Пушкина на четыре года и буквально влюблён в великого поэта. О том, что Пушкин жив, здоров и находится в Москве Соболевский узнал, приехав на бал к французскому посланнику Мармону. Оттуда он, бросив всё, прямо в бальной одежде помчался на встречу с глубоко почитаемым приятелем.

Пушкин тоже любил Соболевского и отличал его между многих за сходный с его собственным нрав. Соболевский был богат, практически не нуждался в средствах и потому формально числясь на службе в Московском архиве Коллегии иностранных дел там практически не появлялся – почти совсем так, как Пушкин в Петербурге шесть лет назад. Природная лёг-

кость характера, безупречный литературный вкус, умение вести интересную беседу и высокая эрудиция позволили ему быстро и непринуждённо перезнакомиться почти со всеми деятелями литературной Москвы, а с В.Ф. Одоевским он даже соавторствовал. При этом Соболевский не был пай-мальчиком, слыл любителем насмешек над людьми чужого круга, был способен легко пойти на эпатирующую циничную выходку и был автором множества едких эпиграмм. Ну, а для тех людей, которых он считал своими, это был верный товарищ и надёжный друг. Именно таким товарищем и другом Соболевский стал на долгие годы для Пушкина.

В тот же самый вечер, восьмого сентября Соболевский по просьбе Пушкина отправился на квартиру Фёдора Толстого, чтобы условиться с ним о месте и времени проведения дуэли. На счастье, в то время Толстого в Москве не было, дуэль не состоялась, а впоследствии противники встретились друг с другом в неформальной обстановке и выяснили, что Толстой не был причиной распространения позорящего Пушкина слуха. Всё между ними в итоге закончилось тем, что Толстой крестил у Пушкина одного из его детей.

А вокруг Пушкина в Москве завертелась бурная человеческая карусель.

Ажиотажа добавила фраза императора, сказанная им на одном из московских балов его секретарю Блудову: «Нынче я разговаривал с умнейшим человеком России». На вопрос Блудова кто же этот умнейший человек, государь назвал имя Пушкина. Слух об императорской оценке личности поэта очень быстро распространился по всей Москве, но и без этого Пушкин привлекал к себе всеобщее внимание. Когда он впервые появился в Большом театре, все зрители смотрели больше на него, чем на сцену. Вообще, этот эпизод первого появления поэта на публике многие могли сравнить только с первым появлением генерала Ермолова в московском Дворянском собрании после возвращения генерала с Кавказа. С.П. Шевырев так написал об этом периоде жизни поэта: «Вспомним первое появление Пушкина, и мы можем гордиться таким воспоминанием. Мы еще теперь видим, как во всех обществах, на всех балах первое внимание устремлялось на нашего гостя, как в мазурке и котильоне наши дамы выбирали поэта непрерывно... Прием от Москвы Пушкину одна из замечательнейших страниц его биографии».

Поэт активно окунулся в московскую литературную жизнь, быстро восстановил старые связи и завязал новые. На писательских вечеринках он несколько раз вслух прочитал своим слушателям «Бориса Годунова». По общему мнению, Пушкин читал свои произведения замечательно, как бы нараспев, подчеркивая музыкальность слога. В то же время его чтение не было вычурным, а наоборот, было простым и лёгким для восприятия. Трагедия была принята почти что всеми слушателями с величайшим восторгом.

Вот отрывок из рассказа М.П. Погодина о чтении «Бориса Годунова» Пушкиным в доме у Веневитиновых: «Какое действие произвело на всех нас это чтение – передать невозможно. Мы собрались слушать Пушкина, воспитанные на стихах Ломоносова, Державина, Хераскова, Озерова, которых все мы знали наизусть. Учителем нашим был Мерзляков. Надо припомнить и образ чтения стихов, господствовавший в то время. Это был распев, завещанный французскою декламацией. Наконец, надо себе представить самую фигуру Пушкина. Ожиданный нами величавый жрец высокого искусства – это был среднего роста, почти низенький человек, вертлявый, с длинными, несколько курчавыми по концам волосами, без всяких притязаний, с живыми, быстрыми глазами, с тихим, приятным голосом, в черном сюртуке, в черном жилете, застегнутом наглухо, небрежно повязанном галстухе. Вместо высокопарного языка богов мы услышали простую, ясную, обыкновенную и, между тем, – поэтическую, увлекательную речь!

Первые явления выслушали тихо и спокойно или, лучше сказать, в каком-то недоумении. Но чем дальше, тем ощущения усиливались. Сцена летописателя с Григорьем всех ошеломила... А когда Пушкин дошел до рассказа Пимена о посещении Кириллова монастыря Иоанном Грозным, о молитве иноков «...да ниспошлет господь покой его душе, страдающей и бурной», мы просто все как будто обеспамятели. Кого бросало в жар, кого в озноб. Волосы

поднимались дыбом. Не стало сил воздерживаться. Кто вдруг вскочит с места, кто вскрикнет. То молчанье, то взрыв восклицаний, напр., при стихах самозванца: «Тень Грозного меня усыновила». Кончилось чтение. Мы смотрели друг на друга долго и потом бросились к Пушкину. Начались объятия, поднялся шум, раздался смех, полились слезы, поздравления. Эван, эвое, дайте чаши!.. Явилось шампанское, и Пушкин одушевился, видя такое свое действие на избранную молодежь. Ему было приятно наше волнение. Он начал нам, поддавая жару, читать песни о Стеньке Разине, как он выплывал ночью на Волге на востроносой своей лодке, предисловие к «Руслану и Людмиле»: «У лукоморья дуб зеленый...» Потом Пушкин начал рассказывать о плане Дмитрия Самозванца, о палаче, который

шутит с чернью, стоя у плахи на Красной площади в ожидании Шуйского, о Марине Мнишек с самозванцем, сцену, которую написал он, гуляя верхом, и потом позабыл вполтину, о чем глубоко сожалел. О, какое удивительное то было утро, оставившее следы на всю жизнь. Не помню, как мы разошлись, как dokonчили день, как улеглись спать. Да едва кто и спал из нас в эту ночь. Так был потрясен весь наш организм».

Тогда же Пушкин загорелся идеей создания литературного журнала – это была его давнишняя мечта. Такая же мечта была в головах ещё полутора десятков молодых талантливых московских литераторов и она начала обретать черты реальности во время дружеских собраний этих людей. К середине октября было решено, что журнал будет выходить под редакцией М.П. Погодина и что называться он будет «Московский вестник».

О дне основания журнала сам Погодин пишет так: «Рождение журнала положено отпраздновать общим обедом всех сотрудников. Мы собрались в доме бывшем Хомякова (где ныне кондитерская Люке): Пушкин, Мицкевич, Баратынский, два брата Веневитиновых, два брата Хомяковых, два брата Киреевских, Шевырев, Титов, Мальцев, Рожалин, Ранч, Рихтер, Оболенский, Соболевский. Нечего описывать, как весел был этот обед. Сколько тут было шуму, смеху, сколько рассказано анекдотов, планов, предположений! < > Вино играло роль на наших вечерах, но не до излишков, а только в меру, пока оно веселит сердце человеческое. Пушкин не отказывался под веселый час выпить».

Это свидетельство Погодина интересно для нас ещё и тем, что оно указывает нам на знакомство Пушкина и Мицкевича, как на хорошо к тому времени устоявшееся.

Великий поэт Адам Мицкевич был на полгода старше Пушкина. Он происходил из старинного литовского шляхетского рода. В его жилах текла литовская, польская и еврейская кровь, а родился и вырос он на территории современной Белоруссии и по праву считается звездой первой величины в польской, литовской и белорусской литературах, хотя основная часть его произведений создана на польском языке и поляки совершенно справедливо считают его своим литературным гением, и едва ли – не отцом польской поэтической словесности. Заметим, что изначально Мицкевич, родившийся на Новогрудчине, ныне расположенной на территории Белоруссии, считал себя литвином, большинство своих произведений создал на местном, фактически белорусском материале и темы их посвящены истории земель, ранее входивших в Великое княжество Литовское.

Мицкевич был рождён в католической семье, в католичестве был крещён и воспитывался в католической традиции. Начальное образование он получил в доминиканской школе при местном новогрудском костёле, а затем в семнадцать лет поступил в Виленский университет на физико-математический факультет, но почти сразу понял, что физика и математика – не его профиль и перевелся на словесный факультет. Учился Мицкевич всегда отлично, очень много занимался дополнительно и практически не создавал для педагогов никаких проблем. С 1817 года он участвовал в создании и деятельности патриотических молодёжных кружков и писал для них программные стихотворения. После завершения университета он четыре года проработал учителем в Ковно, а в 1823 году во время пребывания в Вильно был арестован по «делу филوماتов» (филоматы – группа национально ориентированной польской молодёжи –

прим. авт.), арестован, а через год выслан в Санкт-Петербург. С февраля по март 1825 года он жил в Одессе, где кстати, не избежал чар Каролины Собаньской, но как и Пушкин, ответных чувств от прагматичной соотечественницы не добился. С

декабря 1825 года Адам Мицкевич жил в Москве.

Гонения закаляли характер поэта, чем дальше, тем больше он видел себя представителем польской литературы и общества, и чем старше становился Мицкевич, тем в большей степени позиционировал себя в качестве польского национального патриота. Для нас, правда, важным будет в этом случае и понимание того, что как многие из нас считают русских, украинцев и белорусов одним народом, точно так же в польской среде многие считали и кое-кто считает до сих пор поляков, литовцев и литвинов (белорусов-католиков) ветвями единой культурно-национальной общности. К этим людям относился и Мицкевич.

В Москве, как и в Одессе, и как в Петербурге, Мицкевич в первую очередь стремился устанавливать и поддерживать крепкие связи с представителями, как бы мы теперь сказали, польской диаспоры – судьба в те годы разнесла немало поляков по всем местам огромной Российской империи. Но кроме того, что Мицкевич был католиком и польским шляхтичем, он был ещё и поэтом, и не мог обойтись без литературной среды, найти же хотя бы ещё одного польского поэта или писателя даже в Москве или Петербурге ему было крайне нелегко. Он был обречён временно влиться в русское литературное сообщество, и он легко влился в него. Русские литераторы и в Петербурге и в Москве приняли Мицкевича в высшей степени дружелюбно. Если задуматься, то иначе и быть не могло – литературный класс Мицкевича был чрезвычайно высок, это легко чувствовалось, Адам по уровню был на голову или на две головы выше всех тогдашних московских писателей и поэтов. При этом он в силу природной скромности и истинного шляхетского благородства никогда не позволял себе открыто обнаруживать это превосходство – оно просто естественным образом ощущалось – и всё. С Мицкевичем стремились дружить, его стремились приглашать на всякие собрания. Он часто и охотно принимал дружественные приглашения, но практически совершенно не участвовал в разного рода кутежах и гулянках, к которым не имел никакого тяготения.

Женщины выделяли Мицкевича, но он был осторожен в отношениях с ними и совершенно не склонен к волокитству. В Москве он влюбился в Каролину Яниш, дочь обрусевшего немца и собирался на ней жениться. Девушка тоже пламенно влюбилась в поэта, но против брака из-за политической неблагонадёжности и недостаточной обеспеченности Мицкевича яростно ополчились родители потенциальной невесты. Пока Каролина боролась за своё право на счастье, Мицкевич несколько охладел к ней и, вероятно, не без облегчения уехал в столицу – в том числе и для того, чтобы больше никогда не встречаться с Каролиной.

Москва тех времён была не так велика, чтобы два великих поэта не смогли в ней встретиться, а уж литературная Москва была даже и тесна. Мы не знаем точного дня знакомства Пушкина и Мицкевича, но к концу второй декады сентября оно несомненно должно было произойти. Оба гения чрезвычайно быстро сумели оценить масштаб личности друг у друга.

Интересно, что по внешней оценке они во многом были антиподами. Пушкин был мал ростом, очень подвижен, часто – говорлив и непоседлив. Мицкевич был статен, весьма красив и импозантен внешне, достаточно сдержан во внешнем проявлении своих чувств. Мицкевич имел чёткие национально ориентированные политические взгляды, которые открыто не афишировал и являлся одним из духовных вдохновителей своего направления в среде образованных молодых людей, за что подвергся преследованию, был осуждён, но никогда не просил о скорейшем помиловании с признанием некоей собственной вины, неся на себе

некий венец мученика в изгнании, не пытаясь при этом вызвать у окружающих некое ложное сострадание. Политические воззрения тогдашнего Пушкина сводились к довольно абстрактным общим идеям свободы равенства и братства, лидером воззрений Пушкин не был в силу возраста, недостаточного опыта и образования, и потому стремился к эмоциональному

лидерству – может быть, в определённой степени неосознанно. Ссылка Пушкина стала в большей степени следствием его невоздержанности, чем политических убеждений, которые, повторюсь, были на тот момент крайне не зрелы.

Об отношении Мицкевича к разгульному образу жизни мы уже сказали, об отношении Пушкина к весёлому времяпровождению посвящено немало страниц этой книги. Игра в карты постепенно стала одной из главных пушкинских страстей, Мицкевич был абсолютно равнодушен к этому увлечению.

Пушкин имел возможность получить систематическое образование, но на деле не получил его, посвятив время, отведённое в его жизни для этого другим делам. Мицкевич не только много и системно учился, а ещё и всячески углублял эту системность дополнительными личными занятиями.

Пушкин нигде и никогда не работал. Мицкевич после университета несколько лет проработал учителем, а всякое преподавание очень серьёзно углубляет и внутренне дисциплинирует человека.

Если всё свести к некоему общему знаменателю, то можно будет сказать, что Мицкевич практически всю свою сознательную жизнь воплощал, и в конечном итоге сумел воплотить в себе подходы, которые пытались привить Пушкину его искренние (вроде Жуковского и Карамзина), не вполне искренние (вроде Катенина) и совсем не искренние (вроде Воронцова) друзья и доброжелатели. Безупречная воспитанность, истинная моральность и высочайшая образованность служили замечательным базисом для проявления гения Мицкевича. Пушкин это сразу увидел и не мог не оценить. Известно, что если в какой-либо компании Мицкевич начинал говорить, Пушкин всегда замолкал, если вёл перед этим какой-либо разговор, и с величайшим вниманием слушал речь Мицкевича. Почему это было так – понятно, польский творец обладал качествами, которых у самого Пушкина не было, или которых ему заметно не доставало.

В пересказе князя Вяземского широко известна история о том, как Пушкин, встретясь где-то на улице с Мицкевичем, посторонился и сказал: «С дороги двойка, туз идет!» На что Мицкевич тут же отвечал: «Козырная двойка и туза бьет!» История эта ярко характеризует отношение Пушкина к Мицкевичу, но она также ярко характеризует отношение Мицкевича к Пушкину – очевидно, что польский гений с величайшим уважением и почтением относился к гению русскому! Почему? Ответ прост: Пушкин был настоящим поэтом и свои произведения писал, находясь в состоянии истинного вдохновения, не того, о котором любят порассуждать графоманы с литературного сайта «Стихи.Ру», а настоящего вдохновения, при котором меняется весь человеческий внутренний строй, и которое не приходит к кому попало и где угодно, а за которым охотятся, и которое избранные личности получают в счастливые минуты как долгожданный и драгоценный дар.

С чем можно сравнить предмет нашего разговора, если иметь в виду вдохновение? Может быть, с молитвенным состоянием?! Богу молятся многие люди, и немало кто в минуты молитвы чувствует некое просветление, или облегчение, или какую-то короткую перемену состояния, во время которой молящийся человек может успеть о чём-то попросить драгоценного Господа или его угодников, и немало кто из простых мирских молитвенников может принять это своё небольшое просветление, иногда просто так случившееся, за некие

необычные Божии дары – примеров тому множество. Но только редким истинным Божиим подвижникам известны времена пребывания на молитве в Духе Святом, и эти времена даются им после многих пощений, бдений и трудов, и никогда – просто так, и никогда точно не известно время прихода и продолжительность этих состояний. Никто их таких подвижников не будет бахвалиться пребыванием в Духе Святом, никто не будет рассказывать о своих смиренных трудах на пути к перемене внутреннего состояния, но если одному такому молитвеннику случится вдруг встретиться с другим таким же молитвенником, он безо всякого труда

сумеет различить духовного собрата даже в огромной толпе людей по принципу таинственного сродства душ.

Вот так и обычные стихотворцы в огромном количестве случаев принимают какое-то благорасположение к писанию небольшого стишка за истинное вдохновение, которое по настоящему даётся только избранным, и не сразу, а в процессе долгих трудов и исканий.

И Пушкин, и Мицкевич прошли этот путь трудов и исканий, и им ничего не стоило распознать друг друга в собрании обычных литературных деятелей, не плохих, и далеко не бездарных людей, окружавших их в тогдашней Москве.

Мы не можем так же не отметить и того, что ко времени встречи с Мицкевичем Пушкин прочитал – пусть и не системно, – очень много разнообразной литературы, очень многое прочувствовал и осознал на собственном опыте. Выдающийся ум нашего поэта позволял ему делать очень острые, сильные, неожиданные наблюдения, облечённые к тому же в яркую и доступную форму – многие люди, знавшие Пушкина накоротке, и имевшие с ним разговоры на серьёзные темы были поражены глубиной его мыслей. Мицкевич тоже не мог этого не увидеть и не мог этого же по достоинству не оценить.

Чем же ещё занимался Пушкин по возвращении из ссылки кроме общения с литераторами, чтения своих произведений, пребывания на балах и «кокетничания», как он говорил, с хорошенькими женщинами?

Он, если можно так сказать, отдыхал. Отдых этот занимал обычно первую половину дня. Поэт снимал две комнаты в гостинице, и проводил немало времени либо в них, либо на квартире Соболевского на так называемой Собачьей площадке, находившейся неподалеку от тогдашнего центра города. В одной из гостиничных комнат Пушкин спал, а вторая служила ему чем-то вроде приёмной и там постоянно толклись то гусары, то какие-то полузнакомцы, то литераторы разного рода, периодически могли появляться женщины. Утренняя толкотня начиналась не так уж и рано – поэт любил хорошенько выспаться.

Почти неизменным участником множества этих движений был Соболевский, который никогда не претендовал на роль первой скрипки, но обладая блистательным чувством юмора и богатой энергетикой. Он замечательно вёл партию скрипки второй. Если не было никаких приглашений на обед или на вечер, Пушкин, Соболевский и кто-либо из присутствующих отправлялись на обед в какой-нибудь трактир. За еду очень часто расплачивался Соболевский, которого за это остроловы со временем прозвали «желудком Пушкина», что, впрочем, несколько самого Соболевского не смущало.

Тогда же в Москве Пушкин начал сводить знакомство с тамошними карточными игроками – страсть к азартным играм у него к тому времени была уже в немалой степени сформирована. Поэт ведь даже в Тригорском играл в карты с Прасковьей Осиповой, но, правда, там ставкой служили не рубли, а копейки – сохранились счета Прасковьи Александровны, в которых написано, кто и сколько копеек кому и когда проиграл. Понятно, что тригорские карточные забавы имели

полулюмористический характер, но всё же, всё же, всё же... Нам доподлинно почти ничего не известно об игре Пушкина по крупному в те дни, но стол, покрытый сукном его к себе манил, и манил властно.

При всём том, о чём мы только что написали, Пушкин никогда не забывал о своём предназначении, а он – Поэт! Поэт должен писать, но что можно было ему писать в то время в Москве при его тамошнем образе жизни? Когда можно было что-то писать? А ведь на дворе стояла осень, время его благих литературных трудов, и он знал, и чувствовал это, а уже близился к концу октябрь! Письменный стол, перо и чернила звали к себе! Вполне закономерно, что на каком-то этапе Пушкин задумался о необходимости творческого уединения и наиболее удобным местом этого уединения могло быть в то время только Михайловское. Просто взять и поехать в Михайловское, которое ему не принадлежало, он не мог – об этом надо было поста-

вить хотя бы в формальную известность родителей и получить разрешение, которое ему, безо всякого сомнения было бы дано, но внешние приличия должны были быть соблюдены. Этому мешали напряжённые отношения с отцом, по поводу которого поэт несколько раз резковато высказался в узком кругу, но известия об этом дошли до Сергея Львовича. Отец поэта в возвышенных тонах пожаловался на сына в письме брату Василию; «Не забудь, что в течение двух лет он питает свою ненависть, которую ни мое молчание, ни то, что я предпринимал для смягчения его участи изгнания, не могли уменьшить. Он совершенно убежден в том, что просить прощения должен я у него, но он прибавляет, что если бы я решил это сделать, то он скорее выпрыгнул бы в окно, чем дал бы мне это прощение... Я еще ни минуты не переставал воссылать мольбы о его счастии и, как повелевает Евангелие, я люблю в нем моего врага и прощаю его, если не как отец, – так как он от меня отрекается, – то как христианин, но я не хочу, чтоб он знал об этом: он припишет это моей слабости или лицемерию, ибо те принципы забвения обид, которыми мы обязаны религии, ему совершенно чужды».

Вероятнее всего, эти слова Сергея Львовича не лишены присущего ему артистизма, но насчёт трактовки Пушкиным принципа забвения обид отец поэта скорее всего был прав.

В конечном итоге всё оказалось преодолимо, и Пушкин в конце октября засобиравшись в Михайловское. Всем знакомым поэт об этом говорил в ироническом духе, что, мол, он едет похоронить себя в деревне, где ему будет очень скучно и грустно, но отказаться от поездки при этом ему никак нельзя.

Недели за полторы или за две до отъезда в Михайловское на одном из вечеров он увидел свою дальнюю родственницу, Софью Федоровну Пушкину. Софья Пушкина, по словам её современницы Е.П. Янковой была ««Одна из первых московских красавиц, стройная и высокая ростом, с прекрасным греческим профилем и черными, как смоль, глазами, очень умная и милая девушка». Такой, видимо, её и увидел Пушкин, увидел и влюбился.

Софье Пушкиной на время знакомства с поэтом было двадцать лет и к тому времени она уже почти два года встречалась с А.Паниным, ничем особо не примечательным, но хорошо воспитанным и добрым молодым человеком, горячо влюблённым в Софью. Пушкин это быстро узнал, и повёл себя в отношении очаровательной однофамилицы очень скромно. Своё восхищение девушкой он выразил в знаменитом стихотворении, известном очень многим почитателям поэта:

Нет, не черкешенка она, -

Но в доли Грузии от века

Такая дева не сошла
С высот угрюмого Казбека.

Нет, не агат в глазах у ней, -

Но все сокровища Востока

Не стоят сладостных лучей

Ее полуденного ока.

Этот великолепный мадригал не растопил сердце осторожной красавицы. Пушкин же встретившись с ней всего лишь несколько раз, сразу предложил ей выйти за него замуж. Софья не ответила ему ни «да», ни «нет», а в ответ предложила перенести время окончательного разговора на первое декабря. Поэт клятвенно пообещал ей к этому вернуться из деревни (хотя в

письме Зубкову, написанном в первых числах ноября, он объявлял об отъезде в Михайловское до первого января следующего года).

Тут же хочется вспомнить отрывок из майского письма Вяземскому, недавно упомянутого нами, где поэт всерьёз объяснял своему другу, что брак холостит душу. В чём же причина такой странной перемены? Не в том ли, что Пушкин очень остро чувствовал в себе внутреннюю нестабильность и искал какие-то точки опоры вокруг себя, которые могли дать ему ощущение душевного равновесия? На какое-то время такой точкой опоры ему вдруг показалась Софья Пушкина. Готов ли был он тогда к серьёзному браку? Судите дальше сами, мой любезный читатель...

Пушкин привлекал к себе в Москве всеобщее внимание – на всех балах и вечерах дамы наперебой приглашали его к танцу, мужчины стремились с ним поговорить и пригласить в свою компанию. Что же удивительного в том, что кроме внимания женщин на него обратилось и пристальнейшее внимание со стороны вновь организованного жандармского Третьего отделения? Когда мы читаем отчёты полицейских чиновников, посвящённые Пушкину, нас конечно же коробит тон этих отчётов, но если задуматься серьёзно, то чего же мы должны ожидать от офицеров полиции, обязанных по долгу службы наблюдать за каждым политически неблагонадёжным человеком? Эти офицеры совершенно не обязаны восхищаться поэтическими строками – они должны максимально отстранённо фиксировать житейские факты, и понятно, что в полицейских доносах с описаниями и характеристиками Пушкина мы не видим похвал поэту и восхищений его делами, в их строках чувствуется неприязнь, но в них, кстати, нет враждебности.

Об этих отчётах Пушкин, конечно же, ничего не знал, и в силу его характера мог о них не догадываться, или игнорировать их, но отчёты ложились на стол Бенкендорфу, и у Бенкендорфа были указания императора в отношении Пушкина, которые он собирался неукоснительно исполнять, а Пушкин, сам того не сознавая

некоторые положения негласного договора с царём на тот момент времени нарушил. Об этом ему в своём письме и сообщил Бенкендорф. Мы точно не знаем времени получения Пушкиным его письма, но разобраться с ним поэту было суждено уже в Михайловском, куда он выехал из Москвы первого или второго ноября.

Глава вторая.

По самым разным направлениям

Движенья, взгляды и шаги...

Пушкин в неплохом настроении выехал из Москвы. Он ожидал хороших результатов от своей поездки в деревню. Его душу грели воспоминания об успешной работе над трагедией, над главами «Евгения Онегина» и над целым

сонмом замечательных стихотворений, немало из которых было вызвано к жизни отношениями с обитательницами соседнего Тригорского – каждой из упомянутых в этой книге девушке посвящено не одно замечательное по красоте произведение.

Понятно, жизнь изменилась, симпатии, породившие блистательные строки, поугасли. Пушкин теперь был свободен, и малой любовной лирики его душа поэта в этот раз в виду Тригорского могла не произвести, а вот новые страницы романа уже зрели в пушкинских поэтических закромах..

Дорога до Михайловского у него заняла восемь суток – даже по тем временам это было многовато. В дороге у поэта сломались два колеса. Нам, теперешним, трудно оценить масштаб этих происшествий, но учитывая то, что Пушкин в письме к Соболевскому беззлобно, но не без укора поминает приятелю эти самые два колеса, ранее «растрясённые» им по московским мостовым, становится понятно, что поломка имела какое-то неожиданный и крайне неприятный характер.

В Михайловском Пушкин внимательно разобрался с письмом Бенкендорфа, в котором граф сообщал ему о том, что публичное чтение поэтом его нигде до сих пор не напечатанной трагедии является нарушением договора Пушкина с государем насчёт того, что автор не будет нигде распространять свои произведения вплоть до момента ознакомления императора с текстом произведения, и вынесения о нём своего мнения. В том же письме Бенкендорф сообщал Пушкину о том, что государь предложил Пушкину высказать свои соображения по поводу народного воспитания и образования.

Сказать, что Пушкин всем этим был озадачен – ничего не сказать. Он, видимо по определённой своей радостной наивности думал, что у него теперь будет возможность время от времени посылать свои произведения на чтение царю и после его одобрения отдавать эти произведения в печать, а всё остальное будет идти так, как шло и прежде – можно будет читать свои стихи в дружеских собраниях где угодно и когда угодно, можно будет что-либо позволить распространить в списках – но не всё, потому что каждая строка стоит денег, и просто так распускать их по белу свету не стоит. Оказалось, что существует другая точка зрения, которая уравнивает открытое чтение произведения с его печатной публикацией! Кстати, точка зрения эта не лишена смысла – какая разница, с точки зрения власти, в каком виде достигло общественных ушей и глаз какое-либо произведение? Главное – что оно его достигло, и если заключён договор о первичности царского взгляда на вещи, его надо неукоснительно соблюдать!

Возразить на эту позицию было нечего. Пушкин впервые осознал сложность ситуации, в которой он оказался. В свете этого нового для себя положения поэт понял невозможность своего активного участия в делах литературного журнала – ведь он должен был бы посылать царю на одобрение и все свои литературно-критические статьи. Каждое обращение по такому

поводу занимало бы немалое время, а журнальные дела коротки – надо быстро отзываться на свежие публикации, надо оперативно реагировать на литературные новости, надо живо вступать в литературную полемику. С горечью для себя Пушкин понял, что с участием в журнале придётся повременить и вынужден был написать такое письмо М.П. Погодину: «Милый и почтенный, ради бога, как можно скорее остановите в московской цензуре все, что носит мое имя – *такова воля высшего начальства*; покамест не могу участвовать и в вашем журнале – но все перемелется и будет мука, а нам хлеб да соль. Некогда пояснять; до свидания скорого. Жалею, что договор наш не состоялся».

Одновременно с письмом Погодину Пушкин отписался Бенкендорфу. В этом письме он галантно извинился за допущенную им ошибку, и тогда же через Бенкендорфа отправил трагедию на чтение государю, не преминув попросить вернуть ему текст «Годунова» назад, как единственный, имеющийся у него.

Однако, это было не всё, что думал и чувствовал Пушкин по поводу журнала, русской журналистики и своего в ней места. Вот что он немного ранее написал Вяземскому: «Милый мой, Москва оставила во мне неприятное впечатление, но все-таки лучше с вами видеться, чем переписываться. К тому же журнал... Я ничего не говорил тебе о твоём решительном намерении соединиться с Полевым, а ей-богу – грустно. Итак, никогда порядочные литераторы вместе у нас ничего не произведут! все в одиночку. Полевой, Погодин, Сушков, Завальевский, кто бы ни издавал журнал, все равно. Дело в том, что нам надо завладеть одним журналом и царствовать самовластно и единовластно. Мы слишком ленивы, чтоб переводить, выписывать, объявлять etc. etc. Это черная работа журнала; вот зачем и издатель существует; но он должен 1) знать грамматику русскую, 2) писать со смыслом, то есть согласовать существительное с прилагательным и связывать их глаголом. А этого-то Полевой и не умеет. < > ...согласись со мной, что ему невозможно доверить издания журнала, освященного нашими именами. Впрочем, ничего не ушло. Может быть, не Погодин, а я буду хозяин нового журнала. Тогда как ты хочешь, а уж Полевого ты пошлешь к <матери в гузно>».

В первые же дни своего пребывания в Михайловском Пушкин решил выполнить повеление императора и написал записку «О народном воспитании». Она интересна тем, что в ней Пушкин даёт краткий и широкий взгляд на дело образования в стране, а потом предлагает конкретные методы решения проблемных задач. Всё сформулировано по-пушкински просто, ясно и убедительно, со знанием конкретного жизненного материала. Ну, вот например: «Чины сделались страстию русского народа. Того хотел Петр Великий, того требовало тогдашнее состояние России. В других землях молодой человек кончает круг учения около 25 лет; у нас он торопится вступить как можно ранее в службу, ибо ему необходимо 30-ти лет быть полковником или коллежским советником. Он входит в свет безо всяких основательных познаний, без всяких положительных правил: всякая мысль для него нова, всякая новость имеет на него влияние. Он не в состоянии ни поверять, ни возражать; он становится слепым приверженцем или жалким повторителем первого товарища, который захочет оказать над ним свое превосходство или сделать из него свое орудие».

А вот ещё: «В России домашнее воспитание есть самое недостаточное, самое безнравственное: ребенок окружен одними холопами, видит одни гнусные примеры, своевольничает или рабствует, не получает никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести. Воспитание его ограничивается изучением двух или трех иностранных языков и начальным основанием всех наук, преподаваемых каким-нибудь нанятым учителем. Воспитание в частных пансионах не многим лучше; здесь и там оно кончается на 16-летнем возрасте воспитанника. Нечего колебаться: во что бы то ни стало должно подавить воспитание частное» .

И ещё: «Предметы учения в первые годы не требуют значительной перемены. Кажется, однако ж, что языки слишком много занимают времени. К чему, например, 6-летнее изучение

французского языка, когда навык света и без того слишком уже достаточен? К чему латинский или греческий? Позволительна ли роскошь там, где чувствителен недостаток необходимого?

Во всех почти училищах дети занимаются литературой, составляют общества, даже печатают свои сочинения в светских журналах. Всё это отвлекает от учения, приучает детей к мелочным успехам и ограничивает идеи, уже и без того слишком у нас ограниченные».

Пушкин в своей записке проявляет истинно государственный здравый ум, знание истории родной страны, понимание её внутренних, не писанных нигде законов и критически оценивает опыт собственного обучения, в том числе – и в Лицее. Можно уверенно говорить о том, что эта записка – плод видения проблемы выдающимся интеллектуалом.

Очень интересным является окончание этой записки: «Сам от себя я бы никогда не осмелился представить на рассмотрение правительства столь недостаточные замечания о предмете столь важном, каково есть народное воспитание < > Ободренный первым вниманием государя императора, всеподданнейше прошу его величество дозволить мне повергнуть пред ним мысли касательно предметов, более мне близких и знакомых». – Поэт просит оставить его поэтом, не более того, но и не менее.

Он с радостью посетил Тригорское, нашёл там замечательный приём со стороны Прасковьи Александровны, встретился с Анной Николаевной, восхитился красотой и обаянием расцветающей на глазах Зизи – Евпраксии Николаевны. Встречи эти носили светлый, и радостный, и одновременно – немного грустный характер. Интимная составляющая отношений с Прасковьей Осиповой сменилась окончательно и на оставшуюся жизнь заполнилась дружескими чувствами с обеих сторон – Прасковья Александровна всегда и всё понимала, Анне Николаевне оставалось только вздыхать, а на Зизи вздыхая должен был смотреть сам Пушкин – этот замечательный цветок должен был сорвать кто-то другой.

Пушкинисты очень много спорят о том, кто послужил прообразом Онегина, кто – Ленского, а кто – Татьяны. Споры эти не лишены оснований – ведь когда мастер создаёт своё полотно, он всегда отталкивается при этом от каких-то своих живых впечатлений. Образ Онегина – безусловно собирательный, в нём немало от самого Пушкина, много – от Катенина, что-то – ещё от кого-то, но образ этот, вопреки расхожему мнению – довольно внятный и ясно видимый и мы можем очень много говорить о личности Евгения, высказывать при этом самые разные точки зрения и приводить самые противоречивые аргументы, что в конечном итоге только подтвердит жизненность образа, созданного Пушкиным, а вот что касается Татьяны, то очень многие её черты списаны Пушкиным с Евпраксии Вульф. В течение почти четырёх лет живая девочка-подросток на глазах поэта превращалась в очаровательную и умную девушку. Пушкин с величайшим интересом наблюдал за этим и часть своих чувств перенёс на образ Татьяны. Не зря ведь в пятой главе романа, написанной тогда же, в Михайловском, есть строка, в которой он прямо обращается к Евпраксии:

Подобно талии твоей,

Зизи, кристалл души моей,

Предмет стихов моих невинных...

Да, он тогда с успехом взялся за пятую главу своего романа, хотя нельзя сказать, что работа пошла легко – над Пушкиным довлела необходимость выезда из Михайловского дней за пять до конца ноября – ведь он обещал Софии Пушкиной быть в Москве 1 декабря. Строго установленный срок давил на сознание поэта и не давал свободно развернуться в работе над романом, общий сюжет двух глав которого был Пушкиным уже вполне осмыслен.

Но так, или иначе, 22 ноября 1826 года пятая глава «Онегина» была закончена и переписана. Напомним, что работа над ней началась в самом начале того же года, но потом поэт надолго отложил эту часть своих трудов, пока наконец все онегинские звёзды снова не сошлись

в правильном сочетании. Пушкин почти сразу же начал писать шестую главу, и немало преуспел в трудах, что было не

очень сложно для него потому, что две эти главы были плотно связаны между собой в сюжетном плане. Напомним читателю, что пятая глава начинается замечательными картинами русской зимней природы, затем следует описание сна Татьяны, полного предчувствия судьбы Ленского и описание вечера у Лариных, приведшего к фатальной дуэли. В этой главе замечательно всё – Пушкин гениально описывает русскую природу, в описании сна также гениально передаёт русскую народную мистическую традицию, а в картине бала в очередной раз выступает в роли тонкого и острого бытописателя. Завязка дуэльной истории тоже выписана с гениальной простотой – внешне никчёмный повод, ставящий двух людей на грань жизни и смерти, – Пушкин, многократно искавший такие поводы знал им цену, как мало кто другой.

В мелодии романа, начинавшейся описанием куртуазной столичной жизни послышались предгрозовые раскаты. На судьбы героев надвигалась буря, и Пушкин вроде бы был готов эту бурю описать, но волна вдохновения отхлынула – неумолимое время уже звало поэта в Москву и он не мог сосредоточиться на работе над новой главой романа. Пушкин пару дней просидел в Тригорском, прочитал там пятую главу «Онегина» своим восторженным почитательницам, а 25 или 26 ноября попрощался с ними, клятвенно пообещав вернуться летом, затем у себя в Михайловском попрощался с горячо любимой няней и отправился в Москву.

Планам, нарисованным в голове Пушкина, свершиться было не суждено. Господь создал этот мир в первую очередь для удобства спасения душ человеческих, а не для выполнения неустоявшихся прихотей великих поэтов. Мы не знаем по какой именно причине бестолковый ямщик, то и дел сбиваясь с дороги, в конце концов перевернул дорожную повозку с Пушкиным, но это случилось. Шансы оказаться в Москве к назначенному сроку исчезли совершенно. Пушкин был в отчаянии. Сам он об этом в письме Зубкову 1 декабря 1826 года пишет вот что: «Выехал я тому пять-шесть дней из моей проклятой деревни на перекладной, в виду отвратительных дорог. Псковские ямщики не нашли ничего лучшего, как опрокинуть меня. У меня помят бок, болит грудь, и я не могу дышать. Взбешенный, я играю и проигрываю. Как только мне немного станет лучше, буду продолжать мой путь почтой... Так как я, вместо того, чтобы быть у ног Софи (*С. Ф. Пушкиной – прим. авт.*), нахожусь на постоялом дворе во Пскове, то поболтаем, т.е. станем рассуждать. Мне 27 лет, дорогой друг. Пора жить, т.е. познать счастье. Ты мне говоришь, что оно не может быть вечным: прекрасная новость! Не мое личное счастье меня тревожит, – могу ли я не быть самым счастливым человеком с нею, – я трепещу, лишь думаю о судьбе, быть может, ее ожидающей, – я трепещу перед невозможностью сделать ее столь счастливою, как это мне желательно. Моя жизнь, – такая доселе кочующая, такая бурная, мой нрав – неровный, ревнивый, обидчивый, раздражительный и, вместе с тем, слабый, – вот что внушает мне тягостное раздумие. Следует ли мне связать судьбу столь нежного, столь прекрасного существа с судьбою до такой степени печальною, с характером до такой степени несчастным? – Боже мой, до чего она хороша! И как смешно было мое поведение по отношению к ней. Дорогой друг, постарайся изгладить дурное впечатление, которое оно могло на нее произвести. Скажи ей, что я разумнее, чем кажусь с виду... Мерзкий этот Панин! Два года влюблен, а свататься собирается на Фоминой неделе, – а я вижу ее раз в ложе, – в другой раз на бале, а в третий сватаюсь!.. Объясни же ей, что, увидев ее, нельзя колебаться, что, не претендуя увлечь ее собою, я прекрасно сделал, прямо придя к развязке, что, полюбив ее, нет возможности полюбить ее сильнее...

Ангел мой, уговори ее, упроси ее, настрашай ее Паниным скверным и – жени меня!»

В письме Вяземскому, написанном и отправленном в тот же день поэт выглядит перед своим другом немного иначе: «Еду к вам и не доеду. Какой! Меня доезжают!.. Изъясню после. – В деревне я писал презренную прозу, а вдохновение не лезет. Во Пскове, вместо того, чтобы писать 7-ую главу Онегина, я проигрываю в штосе четвертую: не забавно».

Для того, чтобы окончательно прокомментировать эту ситуацию, стоит сказать, что серьёзная девушка Софья Пушкина не стала дожидаться приезда своего гениального однофамильца в Москву. Пушкин своей активностью добился того, что застенчивый Панин сделал своей возлюбленной предложение, она его с радостью приняла и вскоре вышла за избранника замуж. Брак этот был счастливым – супруги прожили в любви и полном согласии долгие годы. Вряд ли такая же участь была бы уготована Софье Федоровне в союзе с Пушкиным, и милосердый Господь не зря попустил быть происшедшему во благословение одной и в назидание другому. Пушкин был в те дни поставлен на грань искушения, которого он, к сожалению, выдержать не смог, и повёл себя так, как ведёт наркоман, которому необходима доза, или алкоголик, которому тоже необходима доза, но – доза другого вещества, короче говоря, он повёл себя так, как ведёт себя человек, одержимый порочной страстью, и не могущий этой страсти противостоять в минуты душевных нестроений.

Когда поэту стало понятно, что в Москву к назначенному сроку он поспеть не может, тогда он в поисках утolenия вспыхнувших страстей взялся играть в трактире в карты. Удача ему не сопутствовала, он сначала проиграл все деньги, бывшие к нему, а когда деньги закончились, Пушкин поставил на кон четвёртую главу «Евгения Онегина», находившуюся при нём. Его противники знали, с кем имеют дело, ставку приняли, и поэт свою рукопись благополучно проиграл. Напомним, что он уже проигрывал когда-то тетрадь стихов Всеволожскому, и потом ему стоило немалых трудов вернуть её обратно, но тогда ему было девятнадцать лет, а теперь ему шёл двадцать седьмой год! К этому сроку любому человеку неплохо было бы как-то остепениться, тем более – желающему добиться руки спокойной красавицы, но ведь нет – всё вышло по иному! Что это значит? Это значит – Господь не зря попустил искушение, но ведь это надо было ещё увидеть! А готовы ли мы видеть смысл искушений, посылаемых нам? Автор этих строк не раз правильно оценивал произошедшее с ним лишь спустя долгие годы после случившихся показательных событий, и потому – не будем судить гения, совершившего довольно обычную человеческую глубинную ошибку, правда, сдобренную оригинальными обстоятельствами.

Пушкин почти до середины декабря пробыл во Пскове, а 19 декабря появился в Москве и там сразу отправился на квартиру Соболевского, который продолжал жить на так называемой Собачьей площадке. Соболевский был заранее предупреждён поэтом о том, что он намерен поселиться у друга и был этому весьма рад. Он и с удовольствием принял поэта в свои пенаты.

Несколько слов об образе жизни Пушкина на этой квартире мы уже сказали, и немного позже скажем ещё несколько слов о том же, пока же расскажем о некоторых других обстоятельствах его жизни в Москве по возвращении из Михайловского.

Поэт почти сразу погрузился в вихрь приятной ему жизни. Об этом мы находим у Вяземского: «Особенно памятна мне одна зима или две, когда не было бала в Москве, на который бы не приглашали Григ. Ал. Корсакова и меня. После пристал к нам и Пушкин. Знакомые и незнакомые зазывали нас и в Немецкую слободу, и в

Замоскворечье. Наш триумvirат в отношении к балам отслуживал службу свою, на подобие бригадиров и кавалеров св. Анны, неизменных почетных гостей, без коих обойтись не могла ни одна купеческая свадьба, ни один именинный обед».

С особым удовольствием Пушкин посещал салон З.А.Волконской, которая занимала в то время огромный особняк на Тверской улице. Один из современников писал о тогдашней Волконской так: ««Эта замечательная женщина с остатками красоты и на склоне лет, писала и прозой, и стихами. Все дышало грацией и поэзией в необыкновенной женщине, которая вполне посвятила себя искусству. По её аристократическим связям собиралось в её доме самое блестящее общество первопрестольной столицы; литераторы и художники обращались к ней, как бы к некоторому меценату. Страстная любительница музыки, она устроила у себя не только концерты, но и итальянскую оперу, и являлась сама на сцене в роли Танкреда, поражая всех

ловкою игрою и чудным голосом: трудно было найти равный ей контральто. В великолепных залах Белосельского дома оперы, живые картины и маскарады часто повторялись во всю эту зиму, и каждое представление обставлено было с особенным вкусом, ибо княгиню постоянно окружали итальянцы. Тут же, в этих салонах, можно было встретить и все, что только было именитого на русском Парнасе».

Понятно, что Пушкин не мог пройти мимо такого замечательного места, тем более, что вскоре после своего возвращения из ссылки он был лично приглашён Волконской и, по воспоминаниям Вяземского, когда он впервые появился в доме у княгини, она спела для него его элегию «Погасло дневное светило», положенную на музыку композитором Геништой. Впечатление Пушкина от этого приёма Вяземский описал так: «Пушкин был живо тронут этим обольщением тонкого и художественного кокетства. По обыкновению краска вспыхивала на лице его. В нём этот признак сильной впечатлительности был несомненное выражение всякого потрясающего ощущения».

На одном из вечеров у Волконской произошёл занятный эпизод: молодой человек по фамилии Муравьёв, очень трепетно относившийся к Пушкину, случайно отломал у статуи Аполлона руку. Это вызвало незлобивый, но острый комментарий Пушкина. Муравьёв немного обиделся, а он был светел волосами и высок ростом. Впоследствии оказалось, что Пушкин намеренно провоцировал Муравьёва именно из-за его внешности, потому что по уже упомянутому нами пророчеству немки Кириш (или Кирихгоф) жизни поэта угрожал высокий блондин. Пушкин в высшей степени серьёзно относился к этому пророчеству, но в силу своего характера не стремился избежать потенциальной опасности, а наоборот – стремился спровоцировать и испытать возможного противника.

О регулярном посещении Пушкиным салона Волконской говорят и полицейские доносы – за собраниями у Волконской пристально следили люди из Третьего отделения, поскольку княгиня не скрывала своего оппозиционного отношения к императору Николаю. Именно в её салоне 26 декабря 1826 года Пушкин в последний раз встретился с Марией Николаевной Волконской, бывшей Раевской, с той самой милой девочкой, которая восхитила его по дороге на Кавказ больше пяти лет назад. Теперь эта девочка стала женой ссыльного декабриста и уезжала к мужу в Сибирь.

По словам Волконской, оставившей воспоминания об этом вечере, Пушкин хотел через неё передать своё, ставшее впоследствии знаменитым, стихотворение «Во глубине сибирских руд», но Мария уехала из Москвы в ту же ночь, и стихотворение осталось неотправленным. Пушкин передал его несколькими неделями позже через Александрину Муравьёву, жену другого декабриста, также уезжавшую к мужу в Сибирь. Именно Муравьёвой он сказал свои горькие слова: ««Я очень понимаю, почему эти господа не хотели принять меня в свое общество: я не стоил этой чести»».

Восхищаясь подвигом жён декабристов и воздавая должное достойному образу жизни их мужей во время пребывания в ссылке, мы не можем тут не сказать нескольких слов о «глубине сибирских руд», в которой они находились. В рудниках декабристы действительно были обязаны работать. Норма выработки составляла три пуда камня, то есть, 48 килограммов на человека за смену – это три ведра камней. Иногда господа государственные преступники прозаически отказывались выходить на работу, и в этом случае их никто к ней не понуждал и за невыход на работу никто не наказывал. Декабристам было разрешено писать письма, а также получать посылки; они сочиняли стихи, играли в камерах на клавикордах, а один из Бестужевых даже написал портреты всех своих товарищей и оставил картину под названием «Камера»: шкаф, стол, что-то вроде дивана, клавикорды, ковер на стене. Ссылным дозволялось читать книги разного содержания, что они с удовольствием делали. К сожалению, никто из них во время ссылки так и не прирастал к постоянному чтению Священного Писания – видимо, было не до того.

При этом император Николая Павлович всем известен, как суровый палач декабристов, хотя напомним, что даже во время следствия ни к кому из подсудимых не применялись никакие меры физического воздействия, весьма популярные и при Петре Первом, и при советских руководителях нашей страны.

Балами и посещением салона Волконской вечерняя жизнь поэта не заканчивалась. Было ещё несколько домов, куда он с охотой ездил. Одним из таких мест в то время для Пушкина стал дом Ушаковых. Супруги Ушаковы были хорошо известны в московском обществе и жили в большом двухэтажном доме на Пресне. У Ушаковых росли две дочери, к тому времени они обе были, что называется «на выданье» – младшей, Елизавете, было шестнадцать лет, а старшей, Екатерине – семнадцать, обе девушки хорошо играли на музыкальных инструментах и пели. Родителям надо было создать в доме правильную атмосферу, при которой там регулярно могли бы появляться позитивные молодые люди, и они в этом преуспели. В доме Ушаковых часто собирались московские литераторы и музыканты. Здесь не было салонной атмосферы, но было живое, весёлое и лёгкое общение, гостям было у Ушаковых интересно, полюбил там бывать и Пушкин, который познакомился со старшей сестрой Екатериной на балу в Дворянском собрании в самом конце 1826 года.

У Екатерины была младшая сестра Елизавета, и Пушкин поначалу уделял немало внимания и ей, даже написал Елизавете в альбом большое и красивое стихотворение, но Елизавета больше увлекалась молодым полковником Киселёвым, и Пушкин с младшей сестрой кокетничал в основном для вида. Временами поэт охотно беседовал со старухой Ушаковой и часто просил ее диктовать ему известные ей русские народные песни и повторять и напевы. Правда, и это занятие поэта в ушаковском доме было далеко не главным – главным было общение с Екатериной.

Екатерина была резва, шаловлива, насмешлива и весела, временами – немного лукава. Пушкин однажды назвал её "ни женщина, ни мальчик", но тут он мог быть и не совсем прав, эта оценка – скорее шутка, чем истина. П.И. Бартенев описывал её в то время так: ««Екатерина Ушакова была в полном смысле красавица: блондинка с пепельными волосами, темно-голубыми глазами, роста

среднего, густые косы нависли до колен, выражение лица очень умное. Она любила заниматься литературою. Много было у нее женихов; но по молодости лет она не спешила замуж...»

Пушкин бесспорно увлёкся Ушаковой, она вытеснила из его головы воспоминание о неудаче с Софьей Пушкиной. Н.С. Киселёв пишет об этом периоде в жизни поэта так: «Пушкин ездил к Ушаковым часто, иногда во время дня заезжал раза три... Еще более находил он удовольствия в обществе ее дочерей. Обе они были красавицы, отличались живым умом и чувством изящного».

По Москве всюду пошли слухи о влюблённости Пушкина в Ушакову и о её ответном чувстве к поэту. Вот выдержки из дневника Е.С. Телепневой, одной из светских московских девиц того времени: «Вчера мы обедали (у Ушаковых), а сегодня ожидаем их к себе. Меньшая очень, очень хорошенькая, а старшая чрезвычайно интересует меня, потому, что, по-видимому, наш поэт, наш знаменитый Пушкин, намерен вручить ей судьбу жизни своей, ибо уж положил оружие свое у ног ее, т. е. сказать просто, влюблен в нее. Это общая молва. Еще не выдавши их, я слышала, что Пушкин во все пребывание свое в Москве только и занимался, что (Ушакову): на балах, на гуляниях он говорил только с нею, а когда случалось, что в собрании (Ушаковой) нет, то Пушкин сидит целый вечер в углу задумавшись, и ничто уже не в силах развлечь его!.. Знакомство же с ними удостоверило меня в справедливости сих слухов. В их доме все напоминает о Пушкине: на столе найдете его сочинения, между нотами – «Черную шаль» и «Цыганскую песню», на фортепианах – его «Талисман»... в альбоме его картины, стихи и карикатуры. а на языке бесспорно вертится имя Пушкина».

Пушкин забавлялся у Ушаковых вволю – сёстры и он читали друг другу стихи, слушали музыку, дурачились, рисовали карикатуры (напомню, что Пушкин был блестящим карикатуристом), читали книги, но жизнь поэта состояла в те дни не только из этих невинных развлечений – была литература, были дела около литературы и было много чего ещё.

В самом конце 1826 года до него дошло письмо Бенкендорфа, отправленное поэту из Петербурга ещё в середине декабря. По самым разным причинам поэт получить его сразу не смог, а теперь он прочитал вот что: «Я имел счастье представить государю императору комедию вашу о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве. Его величество изволил прочесть оную с большим удовольствием и на поднесенной мною по сему предмету записке собственноручно написал следующее: «Я считаю, что цель г. Пушкина была бы выполнена, если бы с нужным очищением переделал комедию свою в историческую повесть или роман, на подобие Вальтера Скота». Вместе с письмом поэт получил обратно текст своей трагедии, пересланный им государю в конце ноября.

Пушкин в очередной раз был озадачен. Литературный вкус царя оказался плосковатым – Николай Павлович очень неплохо разбирался в инженерных и архитектурных вопросах, а в понимании шекспировских подходов он явно не дотягивал до того, что Пушкину казалось элементарным. Это разочаровывало – стало понятно, что уровень цензора далеко не всегда будет стоять вровень с уже решёнными художественными задачами.

Само собой разумеется, что о печатании трагедии после предложения о переделке трагедии в увлекательную историю не могло быть и речи. Пушкин несколько дней подумал, и написал Бенкендорфу ответ, начинавшийся и заканчивавшийся обычными для подобных писем вежливостями. Вот главная часть этого письма: «С чувством глубочайшей благодарности получил я письмо Вашего превосходительства, уведомляющее меня о всемилостивейшем

отзыве его величества касательно моей драматической поэмы. Согласен, что она более сбивается на исторический роман, нежели на трагедию, как государь император изволил заметить. Жалею, что я не в силах уже переделать мною однажды написанное.

В непродолжительном времени буду иметь честь, по приказанию Вашего превосходительства, переслать Вам мелкие мои стихотворения».

Поэт отстаивал своё право писать то, что он видел так, как он видел, здесь ничто и никто не могли бы его переубедить. При этом хочется сказать несколько слов о «мелких стихотворениях», упомянутых Пушкиным в этом письме. В числе этих стихотворений – несколько шедевров, известных нам чуть ли не с детских лет – нет надобности их тут перечислять, я всего лишь повторю здесь предложение, уже не раз высказанное на страницах этой книги: для подтверждения моей правоты читателю достаточно всего лишь взять список стихотворений Пушкина за 1826, ну – и за 1825 годы, и на свой выбор перечитать несколько любых, взятых подряд. А в конце 1826 года он написал свои «Стансы», обращённые к императору Николаю. Стихотворение начиналось так:

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни...
А заканчивалось оно так:
Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.

Стихотворение породило много толков среди людей, сохранивших либеральные взгляды и некое злорадство среди сторонников строгой государственной линии – мол, припёрло – запел голубчик по-другому, но мы с Вами понимаем, что на самом деле всё было не так – Пушкин

наконец начинал понимать меру ответственности поэта за сказанное слово и пытался по своему поддержать императора в благих начинаниях, ну и – воззвать в последней строке стихотворения к милосердию – на данном этапе безуспешно, поскольку император и без того считал своё отношение к наказанию декабристов весьма милосердным. Скорее всего, это так и было на самом деле.

Что же до меры ответственности поэта за свои слова, то мера эта ещё до середины января весьма строго напомнила Пушкину о своём существовании. Комиссия Военного Суда созданная по делу Алексеева и других, обнаружив у обвиняемых отрывок из стихотворения Пушкина «Анри Шенье» предписала московскому обер-полицмейстеру Шульгину допросить Пушкина и узнать у него, с какой целью им написано настоящее стихотворение. Предписание было вызвано тем, что на копии стихотворения имелась надпись: «На 14 декабря». Шульгин как минимум дважды встречался с Пушкиным по этому вопросу.

В итоге 27 января Пушкин дал по поводу всей этой истории следующее объяснение: «Сии стихи действительно сочинены мною. Они были написаны гораздо прежде последующих мятежей и помещены в элегии «Анри Шенье», напечатанной с пропусками в собрании моих сочинений. Они явно относятся к французской революции, коей А. Шенье пал жертвой. Все стихи никак, **без ясной бессмыслицы**, не могут относиться к 14 декабря. Не знаю, кто над ними поставил сие ошибочное название. Не помню, кому мог передать мою элегию «А. Шенье».

При желании, после такого объяснения дело в отношении Пушкина можно было бы закрыть, но это – при желании, а следствие по делу «Анри Шенье» вел

бывший масон Кочубей, и хотя внешняя промонархическая направленность стихотворения была очевидна, граф Кочубей, бывший Председателем Государственного Совета настоял на том, чтобы Пушкин был отдан под секретный надзор и предложил взять с него расписку, чтобы он сдавал свои произведения в обычную цензуру. Таким образом получалось, что постановление комиссии игнорировало решение императора быть личным цензором Пушкина и произошла обычная для России история – чиновник росчерком своего пера отменил определение, данное высшей властью.

Конечно, всё это было не случайно – все руководители комиссии (и Кочубей, и граф П.А. Толстой и столичный военный губернатор П.В. Голенищев-Кутузов) были ранее крупными масонами и теперь перед ними стояла необходимость демонстрации абсолютной лояльности новой высшей власти. Пушкин для этого был идеальной мишенью, а стихотворение, многозначностью которого он так в своё время гордился, позволило, с одной стороны, тайным сторонникам восстания на Сенатской произвольно трактовать его, как опус в поддержку восстания, а врагам поэта – соглашаться с этими трактовками ради преследования самого поэта. Пушкин просто обязан был извлечь глубинный смысловой урок из этой истории, и он его извлёк, но понимание им происходящего не могло, к сожалению, отныне повлиять на ход некоторых событий его жизни. А в окончательном заключении комиссии писалось следующее: «... вместе с сим Государственный Совет признал нужным к означенному решению Сената присовокупить: чтобы по неприличному выражению Пушкина в ответах насчет происшествия 14 декабря 1825 г. и по духу самого сочинения его в октябре того года напечатанного, поручено было иметь за ним в месте его жительства секретный надзор».

Пушкину элементарно не верили, объяснения его считали просто неприличными, а надзор, учреждённый за поэтом с того времени, не прекращался до самого конца его жизни.

Теперь нам настало время немного поговорить о том, о чём немного уже было говорено прежде, и чём будет говорено ещё впоследствии, а именно – о той части жизни Пушкина, которую любят описывать искатели тёмных пятен его биографии. К сожалению, эта сторона времяпровождения тоже заполняла немалую часть его жизненного времени. Напомним, что Пушкин сразу по возвращении из Михайловского поселился на квартире у Соболевского и зажил там определённым укладом, почти тем же самым, каким он жил, снимая гостиничный

номер в Москве до отъезда в деревню. Сам он в письме П.П. Каверину, написанном в феврале 1826 года описывает этот уклад так: «здесь тоска по-прежнему – Зубков на днях едет к своим хамам – наша съезжая в исправности – частный пристав Соболевский бранится и дерется по-прежнему, шпионы, драгуны, <бляди> и пьяницы толкуются у нас с утра до вечера».

В этот случае, как говорится – «Умри – лучше не скажешь!», а если толковать по Евангелию – то каждый от своих же слов и оправдан, и осуждён будет. Грустно читать эти слова великого поэта, сказанные о себе! Кстати, хамы, к которым едет приятель Пушкина Зубков – это его, Зубкова, деревенские крепостные. Да, мы прекрасно помним о человеческом отношении Пушкина к простым людям, и он в них видел именно людей, но Пушкин-дворянин, сын своего рабовладельческого класса в дворянском кодовом обиходе видел в неведомых ему мужиках и хамов тоже. Вздохнём же по этому поводу ещё раз!

Подтверждений словам Пушкина о своём житье-бытье у Соболевского немало, вот например, находим в дневнике у Погодина: «Досадно, что свинья Соболевский свинствует при всех. Досадно, что Пушкин в развращенном виде

пришел при Волкове», и ещё у того же Погодина: «Однажды мы пришли к Пушкину рано с Шевыревым за стихотворением для «Московского Вестника», чтоб застать его дома, а он еще не возвращался с прогульной ночи и приехал при нас. Помню, как нам было неловко, в каком странном положении мы очутились из области поэзии в области прозы». А вот что пишет его старый, ещё кишинёвский знакомец Ф.Ф. Вигель: «В креслах (итальянской оперы) встретил я Пушкина... Я узнал от него о месте его жительства и на другой же день поехал его отыскивать... Он весь еще исполнен был молодой живости и вновь попался на разгульную жизнь; общество его не могло быть моим. Особенно не понравился мне хозяин его квартиры, некто Соболевский... Находка был для него Пушкин, который так охотно давал тогда фамильярничать с собой: он поместил его у себя, потчевал славными завтраками, смешил своими холодными шутками и забавлял его всячески».

Далее не будем перегружать внимание читателя подобными наблюдениями его друзей и знакомых, найти которые не составит труда, но добавим сюда ещё и то, что Пушкин, кроме мелких порочных забав тогда же всё более увлекался карточной игрой. Неприятная история с проигрышем рукописи четвёртой главы «Евгения Онегина» в декабре ничему не научила поэта. Вот что мы находим у Н.П. Кичеева: «Пушкин, как известно, любил играть в карты, преимущественно в штосс. Играя однажды с А. М. Загряжским, Пушкин проиграл все бывшие у него деньги. Он предложил, в виде ставки, только что оконченную им пятую главу «Онегина». Ставка была принята, так как рукопись эта представляла собою тоже деньги, и очень большие (Пушкин получал по 25 руб. асс. за строку), – и Пушкин проиграл. Следующей ставкой была пара пистолетов, но здесь счастье перешло на сторону поэта: он отыграл и пистолеты, и рукопись, и еще выиграл тысячи полторы». А вот что есть почти о том же у С.П. Шевырёва: «Пушкин очень любил играть в карты; между прочим, он употребил в плату карточного долга тысячу рублей, которую заплатил ему «Московский Вестник» за год его участия в нем».

Мартовское донесение жандармского генерала А.А. Волкова Бенкендорфу в этом плане выглядит чуть ли не юмористическим: «О поэте Пушкине сколько краткость времени позволила мне сделать разведание, – он принят во всех домах хорошо и, как кажется, не столько теперь занимается стихами, как карточной игрой, и променял Музу на Муху, которая теперь из всех игр в большой моде». Отдадим должное генеральскому юмору, но – согласитесь, это всё выглядит не таким уж и смешным, если Вам дорого имя великого русского поэта.

Страсть к игре в карты – одна из человеческих страстей. Пушкин вникал в страсти, наблюдал их, вникал в них, изучал их, и был подвержен страстям по роду своей природы. Карты стали частью его тайных и явных помыслов и порывов. Вот что пишет об этом А.Н. Вульф: «Никакая игра не доставляет столь живых и разнообразных впечатлений, как карточная, потому что во время самых больших неудач надеешься на тем больший успех, или просто

в величайшем проигрыше остается надежда, вероятность выигрыша. Это я слышал от страстных игроков, напр., от Пушкина (поэта)... Пушкин справедливо говорил мне однажды, что страсть к игре есть самая сильная из страстей».

Итак, в Москве Пушкин в немалой степени занялся тем же, чем он занимался в Петербурге до своей ссылки на юг – свободным времяпровождением в компаниях не самых высокоморальных мужчин с выпивкой и поездками к женщинам, не обременённым сексуальными табу, а также – игрой в карты. Но между столичной жизнью поэта семи-восьмилетней давности и его жизнью теперешней была одна очень существенная разница... В Петербурге Пушкин не был организатором разгульных досугов – он был их беззаботным и деятельным, нередко – излишне деятельным участником, а вот в Москве дело выглядело

совершенно иным образом – поэт был в центре внимания соучастников его различных выходов, многие выходы совершались с его одобрения или для того, чтобы получить его весёлую похвалу, то есть, если юноша Пушкин выступал в роли искушаемого, взрослый Пушкин, вернувшийся из ссылки выступал теперь в роли искушителя. Ведал он, что творил, или не ведал, но этим герой нашей книги возлагал на себя иную меру ответственности – об этом говорит Святое Евангелие, которое он изучал в Михайловском, но евангельские строки об участии искушителя, к сожалению, поэтом были оставлены без внимания – мы так уверенно говорим об этом, исходя из очевидных дел поэта того времени.

Когда мы говорим о веселых пушкинских загулах в сопровождении Соболевского, не будем никогда забывать о том, что это был человек искренне преданный Пушкину и не жалевший на него денег. Тогда, к примеру, Соболевский захотел увековечить внешность Пушкина не в напояженном слащавом виде, как его любили в то время изображать, а живого, настоящего, и это именно он, Соболевский, договорился с художником Тропининым, чтобы тот написал один из наиболее известных портретов нашего великого поэта. На нём Пушкин изображён не в задумчивой напыщенной позе а в домашнем халате. Понятно, что Пушкин на этом портрете написан похоже – иначе великий художник и не мог его изобразить, но в изображении поэта всё равно присутствует момент возвышенности – Тропинин прекрасно понимал, для чего ему заказан этот портрет, а вот друзья и знакомые Пушкина, знавшие его ещё по Петербургу отмечали серьёзную перемену в его внешности – с одной стороны, это было закономерно – из столицы уезжал почти юноша, а в Москву возвратился взрослый мужчина, но вот что тогда написал П.Л Яковлев: «Пушкин очень переменялся и наружностью: страшные черные бакенбарды придали лицу его какое-то чертовское выражение; впрочем, он все тот же, – так же жив, скор и по-прежнему в одну минуту переходит от веселости и смеха к задумчивости и размышлению». Опытный человек, читающий эту книгу согласится со мной в том, что такие наблюдения обычно делаются неспроста.

Пушкин в Москве засматривался не на одну Екатерину Ушакову – в первопрестольной всегда было немало замечательных красавиц и поэт уделил своё внимание и троим сёстрам Урусовым, и Александре Римской-Корсаковой, но первенство за собой всё-таки тогда явным образом удержала Ушакова, а вот с одной из сестёр Урусовых была связана история дуэли с Соломирским, молодым офицером, ухаживавшим за одной из Урусовых. Соломирский, находясь внешне с Пушкиным в приятельных отношениях, на самом деле очень серьёзно ревновал его и придравшись к незначительному поводу, стал вызывающе разговаривать с Пушкиным. Этого Пушкин никому в отношении себя не позволял, он довольно насмешливо ответил Соломирскому, и тот вызвал поэта на дуэль. В добрый час, всё закончилось примирением, потому что все лица, вовлечённые в дуэльную историю прекрасно понимали значение Пушкина и никто не хотел быть причастным даже к возможности гибели или ранения гениального поэта.

В литературных кругах Пушкин появлялся регулярно, активно принимал участие в редактировании «Московского вестника», влиял на содержание редакционных статей журнала,

но на его активность в этом направлении серьёзно повлиял фактический запрет на журналистскую деятельность, вызванный уже описанными нами причинами – поэт просто не мог себе позволить беспокоить царя своей журнальной критикой, это было бы нарушением некоей никем не оговоренной этики, а без конца править в долгих дискуссиях чужие мысли Пушкину становилось скучновато.

К тому времени мода на всё французское в Москве начала постепенно уходить, Франция – с одной стороны, как поверженный соперник, а с другой стороны – как гнездо и не оправдавшихся либеральных идей переставала быть центром внимания образованного класса. Москвичам начинала нравиться Германия и немецкая философия, о философии стали много говорить, в том числе – и между литераторами. Пушкину это не нравилось – кем-кем, а философом он не был никогда. Вот что он пишет Дельвигу в марте: «Ты пеняешь мне за Моск. Вестник и за немецкую метафизику. Бог видит, как я ненавижу и презираю ее; да что делать! собрались ребята теплые, упрямые: поп свое, а чорт свое. Я говорю: господа, охота вам из пустого в порожнее переливать, все это хорошо для немцев, пресыщенных уже положительными познаниями, но мы... Моск. Вестн. сидит в яме и спрашивает: веревка вещь какая? А время вещь такая, которую с никаким Вестником не стану я терять. Им же хуже, если они меня не слушают».

А вот что тогда же пишет Погодин в своём дневнике: «К Пушкину. Декламировал против философии, а я не мог возражать дельно и больше молчал, хотя очень уверен в нелепости им говоренного».

Что можно сказать по этому поводу? Литература не зря называется художественной, а не философской, и художник в ней должен иметь приоритет. Философия должна быть невидным образом зашита в ткань художественного произведения, и только тогда она будет в литературе хороша. Литературные оппоненты Пушкина из «Московского вестника» в качестве художников нам остались не известны, а Пушкина мы читали, читаем и будем читать. Но при этом мы не будем при этом отвергать и Погодина с его единомышленниками – они чувствовали дух нового времени и пытались воплотить его в своих трудах в меру отпущенных им способностей.

А вот с кем Пушкин не имел противоречий – так это с Мицкевичем. По мере развития их знакомства взаимная приязнь двух великих поэтов только усиливалось. Вот что пишет А.Э. Одынец: «Мицкевич несколько раз выступал с импровизациями здесь в Москве, хотя были они в прозе, и то на французском языке, но возбудили удивление и восторг слушателей. Ах, ты помнишь его импровизации в Вильне! Помнишь то подлинное *преображение* лица, тот блеск глаз, тот проникающий голос, от которого тебя даже страх охватывает – как будто через него говорит дух. Стих, рифма, форма – ничего тут не имеет значения. Говорящим под наитием духа дан был дар всех языков или лучше сказать – тот таинственный язык, который понятен всякому. На одной из таких импровизаций в Москве Пушкин, в честь которого давался тот вечер, сорвался с места и, ероша волосы, почти бегая по зале, воскликнул: «*Quel génie! Quel feu sacré! Que suis je auprès lui?*» (Какой гений! Какое священное пламя! Что я подле него?) (франц)– и, бросившись на шею Адама, сжал его и стал целовать, как брата. < > Уже много позже, когда друзья Пушкина упрекали его в равнодушии и недостатке любознательности за то, что он не хочет проехаться по заграничным странам, Пушкин ответил: «Красоты природы я в состоянии вообразить себе даже еще прекраснее, чем они в действительности; поехал бы я разве для того, чтобы познакомиться с великими людьми; но я знаю Мицкевича и знаю, что более великого теперь не найду».

А вот что пишет сам Мицкевич в письме к тому же А.Э. Одынцу: «Я знаком с Пушкиным, и мы часто встречаемся. Он в беседе очень остроумен и увлекателен; читал много и хорошо, хорошо знает новую литературу; о поэзии чистое и возвышенное понятие».

Очень близкой дружбы между двумя творцами быть не могло по той простой причине, что каждый из них был слишком велик для того, чтобы пустить равнозначную величину в

своё внутреннее поле, но взаимное признание двух гениев очень дорого для почитателей обоих выдающихся творцов.

К середине весны Пушкин в Москве не на шутку стал скучать – по своему характеру он был столичным жителем, одного салона Волконской для аристократического общения ему было маловато, «Московский вестник» для него тоже был узковат, а московские издатели – жадноваты, они не понимали, за что они должны платить Пушкину непомерные на их взгляд деньги. Московские взгляды казались поэту иногда провинциальными, а публика – недостаточно утончённой. Весёлые потехи у Соболевского тоже не могли полностью удовлетворить его непоседливую натуру. Москвичи, пусть не все, но и немало кто, потихоньку и понемногу переменились в своём отношении к Пушкину – во-первых, они достаточно привыкли к нему, а во-вторых, начали слишком пристально вглядываться в его недостатки, иногда по человеческому свойству находя их там, где их и не было. Об этом находим у С.П. Шевырёва: «Москва неблагородно поступила с Пушкиным: после неумеренных похвал и лестных приемов охладели к нему, начали даже клеветать на него, взводить на него обвинения в ласкательстве, наущничестве и шпионстве перед государем. Это и было причиной, что он оставил Москву».

Пушкин всё взвесил и решил пожить в Петербурге. В конце апреля он обратился с просьбой об этом к Бенкендорфу, и в начале мая получил от него такой ответ: «Его величество, соизволяя на прибытие ваше в С.-Петербург, высочайше отозваться изволил, что не сомневается в том, что данное русским дворянином государю своему честное слово вести себя благородно и пристойно будет в полном смысле сдержано».

Дело было решено. Осталось только попрощаться с гостеприимной Москвой и отправиться в путь. Самым сложным было прощание с Ушаковой, которая была чрезвычайно расстроена грядущим расставанием. Перед отъездом в столицу он написал ей в альбом такое стихотворение:

В отдалении от вас

С вами буду неразлучен,

Томных уст и томных глаз

Буду памятью размучен;

Изнывая в тишине,

Не хочу я быть утешен,

Вы ж вздохнете обо мне,

Если буду я повешен?

Лирическое расставание предполагало развитие романа во времени, но сложность будущих отношений просматривалась с обеих сторон невооружённым глазом.

С братьями-литераторами поэт простился в ночь с 19 на 20 мая 1826 года. Прощание вышло скомканым – поэт опоздал на него, был не совсем в духе и от самой процедуры расставания у всех осталось какое-то грустноватое и невнятное впечатление.

Глава третья.

Быть может – счастье это было,

А может – просто тень его...

По дороге из Москвы в Петербург Пушкин не мог не думать о том, что он оставил в Москве и о том, что ждёт его в Петербурге. В Москве оставалась Ушакова, но когда мы говорим об отношении поэта к этой во всех отношениях замечательной девушке, нам нельзя забывать о том, что если с её стороны это было большое и горячее, может быть, первое, а может быть – единственное в жизни чувство, то со стороны Пушкина всё было иначе. Ушакова в жизни поэта не была ни первой, ни единственной, да, он был немало увлечён ею, но не будем забывать о циничных сексуальных устремлениях Пушкина – он ухаживал за Ушаковой, и спал в это же время с другими женщинами. Кто-то в этом не найдёт ничего особенного, а кто-то изумится – как же можно удовлетворяться с кем попало, и тогда же домогаться другой, претендующей в твоём сердце на роль возлюбленной? В этом есть двоение души и в этом же – её неблагонадёжность для избранного дела или состояния. «Не можете служить Богу и маммоне» – говорит Христос, утверждая этим самым непреложный закон всякой любви. К сожалению, в отношении Пушкина к Ушаковой была внутренняя червоточина, и она не могла со временем не проявиться.

Что до московских литераторов, то к некоторым из них Пушкин был холодноват не только по причине их определённой ограниченности, но и по причине не дворянского происхождения, что, впрочем, поэт часто увязывал в своём сознании воедино – некоторая ограниченность этих людей в его понятии связывалась с недостатком образования и воспитания. В частности, дворянами не были Погодин и братья Полевые, и если Погодин просто стремился всеми силами трудиться на поприще литературы, вынужденно будучи при этом сыном своего сословия, то Полевые с достоинством акцентировали внимание на своём купеческом происхождении и не стеснялись его. По этой причине они были очень чутки к различным проявлениям дворянского высокомерия, оно сильно задевало их. Вот что пишет один из Полевых по этому поводу: «Пушкин соображал свое обхождение не с личностью человека, а с положением его в свете, и потому-то признавал своим собратом самого ничтожного барича и оскорблялся, когда в обществе встречали его, как писателя, а не как аристократа... Аристократ по системе, если не в действительности, Пушкин увидел себя еще более чуждым Полевому, когда блестящее светское общество встретило с распростертыми объятиями знаменитого поэта, бывшего диковинкою в Москве. Он как будто не видал, что в нем чествовали не потомка бояр Пушкиных, а писателя и современного льва, в первое время, по крайней мере. Увлёкшись в вихрь светской жизни, которую всегда любил он, Пушкин почти стыдился звания писателя».

В этом отрывке, кроме явной обиды, высказано несколько мыслей, достойных пристального внимания. Очевидно, Пушкину действительно легко было общаться с природными дворянами, как с людьми, имеющими общий с ним код. Автор этой книги был сыном офицера, и когда его семья жила вне России, естественно, он ходил в школы с русским языком обучения, и автор прекрасно помнит, насколько легче ему было потом общаться с местными людьми, также ходившими в школы с русским языком обучения, а о лёгкости общения с детьми военных и говорить нечего. Общность происхождения и воспитания всегда и везде создавала лёгкость

общения, и это вполне объяснимо. Полевые же, Погодин и иже с ними возможно превосходили Пушкина по некоторым направлениям в начитанности, но просто в силу происхождения им не хватало утонченности и изысканности восприятия – тут уж поделаться было ничего нельзя. Человеку, у которого есть утонченность восприятия рано или поздно станет скучно с тем, у кого её нет, а тот, у кого её нет, никогда о своём недостатке не догадается, и будет списывать дисгармонию отношений на что-либо иное.

Что же касается того, будто бы Пушкин в своём кругу стыдился звания писателя – и это может быть правдивым наблюдением. Дворяне – это люди,

жившие довольно жестокой эксплуатацией чужого труда. При этом они не мучились от сознания этого факта, богатство, достававшееся им таким не самым красивым способом, не подлежало обсуждению в своём кругу, оно считалось как бы возникавшим самим по себе. Получалось, вроде бы живёт человек в Москве или Петербурге, и ничего вроде бы и не делает, и никак и нигде не напрягается, а просто сам по себе он хороший и богатый, и образованный и очень чувствительный ко всему прекрасному индивид. В крайнем случае этот человек где-то служит на очень важном месте, которое доставляет ему немалый дополнительный доход и укрепляет его положение, и в этом-то случае его жена и дети вообще не обязаны чем-либо заниматься кроме поиска различных приятных времяпровождений.

Люди вроде подобного человека составляли вокруг Пушкина целый слой общества, в котором он родился, вырос и воспитался, он закономерно считал себя принадлежащим к этому слою общества, имел к этому все основания, но в то же время не имел доходов для поддержания уровня жизни, который вели многие окружавшие его люди. Доходы эти он должен был искать на стороне, и нашёл их в литературных заработках, продавая издателям плоды своих писательских занятий, но те, кто его окружал, продажей своего труда не занимались, им это было чуждо. Что же удивительного в том, что Пушкин стеснялся позиционировать себя как писателя в светском обществе?

Пушкин вёз с собой в столицу несколько писем друзей, которые он должен был передать по приезду в Петербург по разным адресам. В числе этих писем было письмо А.А. Муханова брату, в котором были такие строки: «Александр Пушкин, отправляющийся нынче в ночь, доставит тебе это письмо. Постарайся с ним сблизиться; нельзя довольно оценить наслаждение быть с ним часто вместе, размышляя о впечатлениях, которые возбуждаются в нас его необычайными дарованиями. Он стократ занимательнее в мужском обществе, нежели в женском...»

По приезду в Петербург Пушкин поселился в гостинице Демута, заняв в ней гостиничный номер. Мы с вами видим, что здесь он повторяет свою уже обозначившуюся московскую привычку – ведь ничто не мешало поэту нанять квартиру где-нибудь немного в стороне от избыточного движения посетителей разного рода, но Пушкин выбирает именно гостиницу, потому что она удобнее для того образа жизни, который он сделал для себя предпочтительным. Жизнь на тихой квартире предполагает уединение и не суетные занятия неким избранным делом. В гостинице тоже можно заниматься избранным делом, но в ней гораздо удобнее встречаться с беспокойными и живыми посетителями, в ней удобно пить, гулять, веселиться и не нужно долго возвращаться домой после напряжённо проведённой ночи, или чрезмерно затянувшегося вечера.

Петербург, в отличие от Москвы, встретил поэта буднично, если не сказать – полуравнодушно. К этому было несколько причин. Первая – Пушкин уже почти год, как вернулся из ссылки, и общество уже давно привыкло к мысли, что поэт здесь, что он занимается тем, чем и раньше занимался, и ничего особенного а этом нет. Вторая – сильно изменилось само общество. Русская столица всегда очень чутка к веяниям, исходящим от верховной власти, а власть стала иной. Свободомыслие перестало быть маркером позитива, маркером позитива стала законопослушность, а Пушкин в глазах большинства общества продолжал оставаться проповедником свободомыслия. Значит, проявление чрезмерного восхищения Пушкиным в

общественном месте могло повредить конкретному человеку в глазах людей его окружавших, в глазах его начальства и в конечном итоге – повредить продвижению по службе и положению человека в обществе

пусть не прямо, но косвенно.

Вообще, продвижение по службе к тому времени постепенно начинало становиться едва ли не основным критерием значимости человека. Император Николай Павлович не был склонен к сложным духовным исканиям и старался внести в общественные отношения простоту и ясность. Он старался окружать себя людьми верными ему и беспрекословно выполнявшими его поручения. Это касалось дел военных, гражданских и духовных. Кстати, именно по этой причине вскоре после воцарения императора им был удалён от трона архимандрит Фотий – император верил в Бога, он и вся его семья тщательно соблюдали православный обряд, но в мистику Николай не уклонялся и не воспринимал её. Это стало одной из причин чрезвычайно быстрого отрезвления столичного общества от мистических настроений – все сразу поняли, что никаких выгод невнятные чувствования не несут и перешли на прагматические рельсы. Понятно, что это не касалось истинно верующих людей, вроде графини Орловой, но такие люди в любом обществе всегда составляют меньшинство.

Пушкин в Петербурге сразу же занялся своим издательскими делами, они для него шли тогда успешно – петербургские издатели ценили его, умели щедро ему заплатить и при этом заработать на его таланте, а Пушкин, в свою очередь, умел с ними торговаться. Тогда же в Москве вышло издание его поэмы «Цыганы», принесшее поэту очередной неплохой доход.

Неизбежной частью издательских дел были отношения с государем и с Бенкендорфом, через которого Пушкин и должен был обращаться к царю. В письмах поэта тогдашнего периода мы находим его просьбы к Бенкендорфу помочь ему в затянувшейся тяжбе с неким Ольдекопом, который ещё в 1824 году, прибегнув к не слишком хитрым ухищрениям, издал пушкинского «Кавказского пленника», как бы теперь сказали, с абсолютным нарушением всех авторских прав. Поэт был просто взбешён этим действием, которое лишало его средств к существованию и теперь стремился восстановить справедливость, используя выход на государя. Бенкендорф не спешил потакать желаниям Пушкина, но тот сумел быть убедительным – по крайней мере, нам не известно, чтобы при жизни Пушкина кто-то в тогдашней России рискнул повторить «подвиг Ольдекопа». Также и тогда же через Бенкендорфа поэт передал на прочтение «Графа Нулина», третью главу «Онегина», «Стансы», «Песни о Стеньке Разине», «Ангела», «Отрывок из Фауста» и ещё несколько стихотворений.

В политическом плане Пушкин не позволял себе никаких острых высказываний – он уже хорошо знал им цену, и известия о том, что студенты московского университета с радостью переписывают его «Кинжал» уже не слишком добавляли ему настроения. Поэту важнее были его отношения с государем. Вот что мы находим в одном из тогдашних донесений Бенкендорфа царю: «Пушкин, после свидания со мной, говорил в Английском клубе с восторгом о Вашем Величестве и заставил лиц, обедавших с ним, пить здоровье Вашего Величества. Он все-таки порядочный шалопай, но если удастся направить его перо и его речи, то это будет выгодно».

Из этого донесения следует, что Пушкин по приезде в столицу обращался к Бенкендорфу лично, и что отношение его к императору в то время было в высшей степени доброжелательным – чего в поэте не было никогда, так это – лицемерия, и если бы он не хотел пить за здоровье императора, никто не мог бы его заставить это сделать.

Не будем при этом забывать ого, что примерно тогда же, в середине июля, поэтом было написано его знаменитое стихотворение «Арион», смысл которого ни у кого не может вызывать малейших сомнений Вот всем известная концовка этого произведения:

Погиб и кормщик и пловец!—

Лишь я, таинственный певец,

На берег выброшен грозою,

Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.

Интересно, что стихотворение это было прочитано императором, одобрено и разрешено к печати – его напечатали в дельвиговском альманахе «Северные цветы» в 1828 году. Необходимо признать, что императорская цензура не была запредельно строга к Пушкину.

К сожалению, Пушкин, умевший хорошо зарабатывать и считавший себя очень практичным, не умел хорошо распорядиться заработанными деньгами – понятно, на наш с Вами взгляд. Вот что мы находим в полицейском отчёте М.Я.фон-Фока того времени: «Главное занятие Завадовского в настоящее время – игра. Он нанял сельский домик на Выборгской Стороне. У Пфлуга, где почти каждый вечер собираются следующие господа: ... Пушкин, сочинитель, был там несколько раз. Он кажется очень изменившимся и занимается только финансами, стараясь продавать свои литературные произведения на выгодных условиях. Он живет в гостинице Демута, где его обыкновенно посещают: полковник Безобразов, поэт Баратынский, литератор Федоров и игроки Шихмаков и Остолопов. Во время дружеских излияний он совершенно откровенно признается, что он никогда не натворил бы столько безумия и глупостей, если бы не находился под влиянием Александра Раевского, который по всем данным, собранным с разных сторон, должен быть человеком весьма опасным».

Кроме карт поэт занялся тем же времяпровождением, которым он занимался и в Москве вместе с Соболевским. Для этого он собрал вокруг себя компанию, состоящую почти целиком из столичной молодёжи, и предавался вместе с ней радостям столичной жизни. Князь А.Ф. Голицын был свидетелем этих событий: «Пушкин любил веселую компанию молодых людей. У него было много приятелей между подростками и юнкерами. Около 1827 года в Петербурге водил он знакомство с гвардейскою молодежью и принимал деятельное участие в кутежах и попойках. Однажды пригласил он несколько человек в тогдашний ресторан Доминика и угощал их на славу. Входит граф Завадовский и, обращаясь к Пушкину, говорит: «Однако, Александр Сергеевич, видно, туго набит у вас бумажник!» – «Да ведь я богаче вас, – отвечает Пушкин, – вам приходится иной раз прожиться и ждать денег из деревень, а у меня доход постоянный с тридцати шести букв русской азбуки».

Здесь мы с Вами принуждены снова обратить внимание на тот немного печальный факт, что великий поэт в этих историях выступает уже не в роли искушаемого, а в роли искусителя, так сказать, учителя жизни для малоопытных молодых людей и наука, которую он им преподавал, была далеко не лучшей из всех возможных наук. Говоря о времяпровождении Пушкина с беззаботными молодыми людьми следует обратить внимание ещё вот на что: времена переменялись, мы об этом уже сказали, и скажем об этом же ещё не раз, переменялись они и в плане восприятия обществом разгульного образа жизни отдельных его представителей. Да, во всех человеческих сообществах всегда существует некая когорта молодых, всем обеспеченных людей, которые, не

сильно задумываясь о завтрашнем дне, стараются развлечься всеми доступными методами во время дня сегодняшнего. Были такие люди и в 1827 году в Петербурге, но за десять лет до того подобных им личностей было гораздо больше – десять лет непрерывных войн с участием России и невиданное доселе в стране свободомыслие породили целый стиль жизни у определённого количества людей, отличившихся на войне, презиравших опасности и одновременно способных на самые неожиданные выходы в обычной жизни. Учитывая прежние заслуги этих людей, власть на многие их выходы смотрела сквозь пальцы, они же инспирировали в окружавшей их молодёжи, не нюхавшей пороха, дух конкурентного молодечества, который доходил даже до таких вяловатых индивидов, как Дельвиг, который (помните!) с сожалением писал Пушкину в ссылку о том, что в теперешнем Петербурге даже с городскими задираться некому.

Пушкин, несший в себе этот самый дух молодечества, ожидал увидеть в окружавшей его весёлой молодёжи неких продолжателей знакомых ему гусарских традиций. Что же он увидел на самом деле? А увидел он если не молокососов, глядящих ему в рот, то уж никак не удальцов, готовых и на кутежи, и на подвиги одновременно. Время героев прошло, надвигалось время преданных служак, и будущие крепкие командиры не планировали пьянствовать с поэтом в трактире, а готовились к делам службы, в трактире же собирались может быть и неплохие разбитные ребята, готовые к веселью, но на удалство и на подвиг не способные. Других молодых людей, однако, не было, и Пушкин проводил время с этими, но не удивительно, что его манил карточный стол – там сидели личности серьёзные и азартные одновременно, люди, готовые на поступок – не всякий решится поставить на карту что-либо очень важное для него. Дураки и совсем пустые люди в карты по крупному не играли.

Когда мы говорим о том, что Петербург встретил Пушкина осторожно, и что он в то время мало бывал в аристократических салонах, важно отметить, что май, июнь и июль в тогдашнем Петербурге не были временем салонов – основная часть аристократической публики в это время почти на всё лето отъезжала из города, кто-то – на ближние дачи, при чём в особенности предпочитались дачи вокруг Царского Села, а кто-то – в родовые поместья.

Был, однако, один салон, который в тот год не прекращал активной жизни и в летнее время – это был салон Елизаветы Михайловны Хитрово, в первом браке – Тизенгаузен, в девичестве – Кутузовой. Она была третьей дочерью великого полководца, рано вышла замуж и в двадцать два года овдовела – её первый муж умер от ран, полученных в бою. В первом браке она родила двоих дочерей. Через шесть лет после гибели мужа она повторно вышла замуж, жила за границей в Италии, но второй её муж не отличался крепким здоровьем и в 1819 году умер. Елизавета Михайловна нуждалась, приехала в столицу просить пенсию и была милостиво принята государем, который пенсию ей назначил. С тех пор она жила в Петербурге и была хозяйкой литературно-художественного салона. Может быть, она не была особенно умна, но главными чертами её характера были неподдельная доброта, искренность и широта души. Не заметить эти её качества и не оценить их было просто невозможно – она любила людей, принимала их такими, какими они были, и люди платили ей той же монетой, несмотря на её многочисленные чудачества, связанные в первую очередь с неутолённой сексуальностью.

Она много и часто сокрушалась по поводу своего вдовства, ей нравились мужчины, но в общении с ними она никогда не переходила за грань вульгарности – никто не мог рассказать о ней никаких пошлых историй просто потому, что их,

видимо, не было. В то же время, её женское естество било через край, она считала свою грудь и плечи очень красивыми и носила открытые платья на самой грани всех светских приличий, а было ей в ту пору уже сорок четыре года. За склонность к открытым одеждам её за глаза называли «Лизой голенькой», остряки писали по этому поводу эпиграммы, дамы хихикали, но она, не обращая ни на кого внимания, продолжала носить свои наряды, показывая всем немолодые уже груди и плечи, и это, в конечном итоге, никак, по большому счёту, не сказывалось на отношении к ней подавляющего большинства великосветского столичного общества, повторимся: её любили.

Её салон был таким, каким была она сама: это было добродушное собрание приятных и образованных людей. Почти все известные столичные литераторы того времени так или иначе были причастны к салону Хитрово и многие были там завсегдатаями. Не удивительно, что там появился и Пушкин. Как поэт Пушкин не мог не понравиться Елизавете Михайловне, но он ей понравился и как мужчина, да не просто понравился, а... пышнотелая вдова влюбилась в него так, как может влюбиться страстная и ещё физически крепкая женщина средних лет. Она хотела Пушкина и душой, и телом, и скрыть ей это было очень трудно. Масла в огонь по неосторожности, судя по всему, подлил сам Пушкин – скорее всего из какого-то не подлого чувства он уступил желаниям едва ли не пожилой женщины, и, видимо, несколько раз удо-

влетворил её страсть. Можно сказать, что от этого Хитрово потеряла голову. У неё, однако, хватило ума не выставлять свои мечты перед остальными, но Пушкин начал получать от неё просто гомерические порции внимания. Внимание это сочеталось с заботой о судьбе поэта, хлопотах по поводу его проблем, доброжелательными отзывами о нём в самых разных местах и всегда это было по добром, но Пушкин довольно скоро начал тяготиться этим вниманием и избегать лишних контактов с Хитрово, а это при небольших размерах тогдашнего Петербурга не всегда легко было сделать. При этом отношения поэта с Хитрово в некоторой степени напоминали его отношения с Прасковьей Осиповой в том смысле, что общаясь с этой женщиной он никогда не перешёл грань хамства и сохранял внутри себя почтение к ней, которое ощущалось даже тогда, когда он подшучивал над Хитрово в разговорах на её счёт со своими друзьями.

В Петербурге Пушкин несколько раз пересёкся с Анной Керн – по охотничьему инстинкту он не оставлял своего намерения довести свою интимную адюльтерную историю с ней до конца, и мы, начиная с их встречи в Тригорском, всё время натываемся то на какое-нибудь куртуазное письмо Пушкина в адрес Керн, то на её очередное воспоминание о каком-то пребывании с Пушкиным где-то в одной компании. Обе стороны этого с позволения сказать романа прекрасно понимали его внутреннюю суть, но играли при этом свои роли с достаточным упорством.

Тогда же Пушкин позировал Кипренскому и художник написал его знаменитый портрет, теперь находящийся в Третьяковской галерее. Этот портрет – более парадный, чем портрет Тропинина, но именно на гравюру Уткина, сделанную с этой работы Кипренского отец поэта Сергей Львович впоследствии указывал, как на самое достоверное изображение его сына.

Столичная жизнь не располагала Пушкина к писанию, как немногим менее года назад его не располагала к писанию московская жизнь, а короткое петербургское лето обещало не затягиваться. Поэт начал понемногу скучать и задумываться о выезде в деревню на труды. Поговаривать об этом он начал в середине июля, а в конце месяца, 27 или 28 числа он отправился из Петербурга в Михайловское – уехал писать прозу, читать книги и ожидать вдохновения для работы над стихами.

Признаков вдохновения сразу по приезде в Михайловское Пушкин не чувствовал. К тому времени он уже очень хорошо изучил себя и знал не только признаки самого вдохновенного состояния, но и признаки приближающейся высшей готовности к поэтическим трудам. Вот его слова из тогдашнего письма Дельвигу, написанного 31 июля: «Я в деревне и надеюсь много писать, в конце осени буду у вас; вдохновенья еще нет, покамест принялся за прозу».

Итак, покуда стихи не писались, поэт читал книги и начал писать роман в прозе. Конечно же, он не забывал и своих тригорских соседей, из которых теперь постоянно на месте были только Прасковья Осипова и Анна Николаевна. Поэт регулярно навещался к ним в гости, но чем дальше, тем больше это были просто добрые приятельские посещения – не более того. Интимность встреч ушла далеко за горизонт, уступив место ровным человеческим отношениям. Главным делом в этот приезд была работа, и Пушкин с удовольствием взялся за неё. Начальный замысел нового прозаического романа он обратил к петровским временам и к истории своего деда, Абрама Ганнибала.

Поначалу писание книги пошло довольно легко, но потом что-то стало мешать, и дело начало под тормаживаться. Испытанные способы активизации творческого потенциала в виде купаний, прогулок и прочего срабатывали не очень хорошо. На двух начальных законченных главах дело почти что встало. Об этом этапе работы мы находим у А.Н. Вульфа, побывавшего в те дни у Пушкина: «показал он мне только что написанные первые две главы романа в прозе, где главное лицо представляет его прадед Ганнибал, сын абиссинского эмира, похищенный турками, а из Константинополя русским посланником присланный в подарок Петру I, который его сам воспитывал и очень любил. Главная завязка этого романа будет – как Пушкин говорит

– неверность жены сего арапа, которая родила ему белого ребенка и за то была посажена в монастырь. Вот историческая основа этого сочинения».

Мы достоверно не знаем, сколько именно глав этого своего незаконченного романа Пушкин написал тогда в Михайловском – нам известны семь их, причём седьмая – не окончена. Выдающийся критик В.Г. Белинский об этих главах написал вот что: «Будь этот роман кончен так же хорошо, как начат, мы имели бы превосходный исторический русский роман, изображающий нравы величайшей эпохи русской истории. <...> Эти семь глав незаконченного романа, из которых одна упредила все исторические романы гг. Загоскина и Лажечникова, неизмеримо выше и лучше всякого исторического русского романа, порознь взятого, и всех их, вместе взятых».

И действительно: когда начинаешь читать эту книгу простота и ясность изложения, чёткость описания людей, их мотивов и поступков просто завораживает, а неожиданный обрыв повествования оставляет в читателе чувство острого сожаления. Так или иначе, но тогда, в Михайловском Пушкин просто ясно не увидел развития выбранного изначально сюжета, не ощутил его внутренней динамики – ну, условно говоря, женил арапа на белой красавице, ну, потом развёл его с ней, потом женил будничным образом на другой женщине, от которой без особой романтики родилась куча детей. Дальше-то что? Да, завязка была, но для развития темы была нужна была интрига, пружина, а её-то и не хватало.

Известно, что после осени 1827 года Пушкин несколько раз пытался взяться за этот роман, но каждый раз откладывал работу в сторону – уж слишком сложной по нескольким причинам для него тогдашнего оказалась эта работа: в течение нескольких последующих лет он глубоко переосмыслил роль Петра в русской

истории, серьёзно переменил взгляд на его личность, ну, и скорее всего, увидел, что личная история Абрама Ганнибала не могла быть в чистом, не изменённом виде, представлена в романе, а значит первоначальная фабула произведения должна была перевернуться почти полностью – на это мог бы быть способен зрелый и умудрённый годами Пушкин, тот Пушкин, которым он должен был стать, но не стал.

Между тем, лето кончилось. Исчезли мухи и комары, воздух посветлел. Пушкин почувствовал признаки приближающегося поэтического вдохновения. Немногим позже там же, в Михайловском, он определил это состояние следующим образом: «Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно и объяснению оных. Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии».

В этом определении гениально схвачена сущность любого настоящего интеллектуального труда на уровне даже психофизиологическом. Я уверен, что под таким определением вдохновения с радостью подписались бы и великие физиологи Сеченов и Павлов, и великий психоневролог Бехтерев. Действительно: сначала мы воспринимаем мир, потом мы усваиваем воспринятое, а потом объясняем его, и это самое объяснение великого ума уже есть само по себе действие, которым можно восхищаться, если это есть художественное творение, или пользоваться им, если это есть практическое предложение.

Тогда же, в Михайловском Пушкиным было написано его стихотворение «Поэт». Это великолепно написанное стихотворение можно считать одной из нескольких программных его работ. Помните?

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,

Быть может, всех ничтожней он.

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
Тоскует он в забавах мира,..

Оставим читателю счастливую возможность самостоятельно дочитать эти вдохновенные строки, посвящённые поэтическому вдохновению – сказать об этом лучше, чем сказал сам Пушкин всё равно ни у кого не получится.

Пушкин отложил работу над прозой, завершил работу над шестой главой «Евгения Онегина» и тут же начал писать седьмую. В сюжетном плане ему на первый взгляд это было сделать не так уж и сложно – линии героев были почти полностью выстроены, каждый из них жил на исписанных стихотворными строками страницах своей собственной жизнью. Онегин после убийства Ленского просто обязан был покинуть свой деревенский приют, а Татьяна выросла и подходила к возрасту определения своей жизненной судьбы.

Михайловское, Тригорское, Прасковья Осипова и те, кто её окружал служили замечательным основанием для довершения деревенской истории Тани Лариной. Пушкин великолепно описал жизнь Татьяны в деревне после отъезда оттуда

Онегина и также великолепно описал её приезд в Москву. В строфах, посвящённых въезду Татьяны в город есть такие строки, которые тут просто невозможно не привести:

Как часто в горестной разлуке,

В моей блуждающей судьбе,

Москва, я думал о тебе!

Москва... как много в этом звуке

Для сердца русского слилось!

Как много в нем отзывалось!

Я не знаю лучших строк о горячо любимом мной городе!

Если писание истории Татьяны шло у Пушкина относительно легко, то с историей Онегина всё получалось очень не просто. Куда уехал Онегин из деревни? Назад в столицу? Что он тогда должен там делать? С кем встречаться? Чем заниматься? Ответ был один – Онегин должен был отправиться в путешествие. Где же он в таком случае должен был путешествовать? Путешествовать он мог только там, где побывал сам Пушкин – иначе и быть не могло! – как можно описывать места, в которых ты не бывал?

Пушкин многократно, ещё с одесских времён, задумывал описание путешествия Онегина но оно никак не выстраивалось, потому что кроме описания мест, оно предполагало описание людей, их нравов и настроений, а сюда очень легко так или иначе примешивалась политика, что в свою очередь моментально становилось неприемлемым в свете сложившихся обстоятельств.

Поэт в Михайловском закончил шестую главу «Онегина», написал большую часть седьмой и сточил зубы своего поэтического вдохновения о путешествии Онегина. К началу октября стало ясно, что ничего крупного в этот раз написать уже не удастся. Всё что могло быть написано, было написано, всё что нужно было прочитать – было прочитано. 10-11 октября в Петербурге должна была появиться в продаже третья глава «Евгения Онегина», Пушкин знал об

этом и ему хотелось отметить это событие в столичном кругу, но он немного задержался со сборами и прощаниями, и выехал из Михайловского в столицу днём позже, 12 числа.

Глава четвёртая.

А Он ведь нас предупреждает,

И нас томленьями – хранит...

Пушкин с охотой возвращался в столицу – там его ожидали привычные ему занятия и развлечения: ожидала разбитная молодёжь, ожидала компания картёжных игроков, ожидала в своём гостеприимном салоне приятная, смешная и немного надоедливая Елизавета Хитрово, ожидали друзья-литераторы, ожидали доходные дела с книгоиздателями, ожидало приятное волокитство за хорошенькими женщинами и много чего ещё... Кстати, о волокитстве – поэт с завидным упорством атаковал Анну Керн и написал ей даже из Михайловского вот такую сладенькую весточку:

«Анна Петровна, я Вам жалуясь на Анну Николавну – она меня не целовала в глаза, как Вы изволили приказывать. Adieu, belle dame (Прощайте, прекрасная дама – прим. авт.).

Весь ваш

Яблочный пирог».

Напомним, что Пушкину в это время было двадцать восемь лет и он имел колоссальный опыт интимного общения с женщинами. Может быть кто-то при

чтении этого письма возьмётся утверждать, что эти строки – выражение искреннего чувства, но мне позвольте в этом случае остаться при совершенно ином мнении и сказать при этом: «Бедная! Бедная Екатерина Ушакова!»

До нас не дошли ни письма Ушаковой Пушкину, написанные в это время, ни письма Пушкина Ушаковой – Екатерина Николаевна перед смертью уничтожила всю свою переписку с Пушкиным, Пушкин тоже планомерно уничтожал письма женщин, адресованные ему, и мы ничего не можем сказать по поводу их тогдашних отношений, но поэт по отношению к девушке, любившей его всем сердцем был, как минимум, немного не искренен.

Однако, мы отвлеклись – Пушкин ехал в Петербург. За окном открывались унылые осенние картины, а в сердце поэта разгорался огонь ожидания городских впечатлений и ему хотелось действия. Вот как он описывает часть своего дня в дороге 15 октября: «приехав в Боровичи в 12 час. утра, застал я проезжего в постели. Он метал банк гусарскому офицеру. Перед тем я обедал. При расплате недоставало мне 5 рублей, я поставил их на карту. Карта за картой, проиграл 1600. Я расплатился довольно сердито, взял займы двести рублей и уехал очень недоволен сам собой». Оставим этот эпизод без комментариев.

Но банальным проигрышем в карты этот день не закончился. Читаем у Пушкина дальше: «На следующей станции нашел я Шиллерова «Духовидца»; но едва успел я прочитать первые страницы, как вдруг подъехали четыре тройки с фельдъегерем. Я вышел взглянуть на них. Один из арестантов стоял, опершись у колонны. К нему подошел высокий, бледный и худой молодой человек с черною бородою, во фризовой шинели... Увидев меня, он с живостью на меня взглянул; я невольно обратился к нему. Мы пристально смотрим друг на друга – и я узнаю Кюхельбекера. Мы кинулись друг другу в объятия. Жандармы нас растащили. Фельдъегерь взял меня за руку с угрозами и ругательством. Я его не слышал. Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали».

Это была последняя встреча двух лицейских друзей, двух поэтов. Кюхельбекеру предстояло тюремное заключение и ссылка в Сибирь, где он сделал немало добрых дел, занимался литературной деятельностью, женился на местной сибирячке, родил нескольких детей, и не дожив до пятидесяти лет, умер. Судьба же Пушкина нам хорошо известна.

Встреча с арестованным другом повергла Пушкина в меланхолию, но через два дня он добрался до Петербурга и столичная обстановка растворила эту меланхолию в циклах своего движения. Пушкин снова поселился в двухкомнатном номере гостинице у Демута и очень быстро закружился в вихре встреч и новостей.

Среди новостей в то время очень важными были новости военные. Россия успешно воевала в Закавказье с Персией. 1 октября Паскевич после осады взял Эривань, а 19 октября – Тавриз. В Средиземноморье тоже произошло крупное событие – там 8 октября в Наваринской бухте произошло большое морское сражение между англо-франко-российским и турецко-египетским флотами. В результате сражения турки потерпели сильнейшее поражение, а в победу союзного флота главный вклад внесли русские моряки. Отношения России и Турции из-за этого очень сильно осложнились. В воздухе запахло ещё одной войной. Пушкин очень сильно интересовался всем происходящим, предвидя для себя возможность поучаствовать в военных действиях – это всегда было его большой мечтой, но война с Турцией пока не начиналась, бои в Закавказье прекратились, а хоровод активной жизни вокруг поэта завертелся, как бы теперь сказали, по полной программе, и он с удовольствием принял участие во всех

поворотах этого хоровода.

Пушкинский быт в гостинице у Демута без особой приязни но весьма реалистично описан К.А. Полевым, побывавшим в столице немного позже, в марте 1828 года. Вот что мы находим в его записках: «Жил он в гостинице Демута, где занимал бедный номер, состоявший из двух комнат, и вел жизнь странную. Оставаясь дома все утро, начинавшееся у него поздно, он, когда был один, читал, лежа в постели, а когда к нему приходил гость, он вставал с своей постели, усаживался за столик с туалетными принадлежностями и, разговаривая, обыкновенно чистил, обтачивал и приглаживал свои ногти, такие длинные, что их можно назвать когтями. Иногда заставлял я его за другим столиком – карточным, обыкновенно с каким-нибудь неведомым мне господином, и тогда разговаривать было нельзя; после нескольких слов я уходил, оставляя его продолжать игру. Известно, что он вел довольно сильную игру и чаще всего проигрывался в пух! Жалко бывало смотреть на этого необыкновенного человека, распаленного грубою и глупою страстью! Зато он был удивительно умен и приятен в разговоре, касавшемся всего, что может занимать образованный ум. Многие его замечания и суждения невольно врезывались в память».

Погодин со товарищи тогда же звали поэта и в Москву, но он в первопрестольную не торопился. Мотивы нежелания поэта осесть в Москве он изложил тогда в одном из писем к Соболевскому: «Погодин мне писал, а я, виноват, весь изленился, не отвечал еще и не послал стихов – да они сами меня обескуражили. Здесь в Петербурге дают мне (*à la lettre*) 10 рублей за стих, а у вас в Москве хотят меня заставить даром и исключительно работать журналу. Да еще говорят: он богат, черт ли ему в деньгах. Положим так, но я богат через мою торговлю стихами, а не прадедовскими вотчинами, находящимися в руках Сергея Львовича».

Часть московских литераторов действительно считала Пушкина барином, и богатым барином, который по их мнению должен был чем-либо поступаться во имя общего дела и по этой же причине не хотела платить Пушкину за работу так, как он этого желал. Естественно, Пушкин в этом случае не думал признаваться в излишней, может быть, широте своих финансовых запросов, а москвичи, в свою очередь по простому человеческому свойству никогда не признались бы самим себе в собственной узости подходов и банальной жадности не без зависти. Взамен этого обе стороны предпочитали красиво подавать свою позицию, каждая оставаясь при своём мнении.

В это время в жизни Пушкина конечно же было весёлое времяпровождение с золотой молодёжью, и игра в карты, но было и другое времяпровождение – он немало времени проводил с петербургскими литераторами, особое внимание он уделял в те дни Дельвигу. Дельвиг тогда уже был женат, семейные отношения его устраивали, а на литературном поприще он был издателем альманаха «Северные цветы», и это создавало дополнительную точку для соприкосновения с Пушкиным. Пушкин и Дельвиг не только часто встречались между собой, но и, так сказать, наводили мосты с другими литературными деятелями тогдашнего Петербурга, в том числе – и с Фаддеем Булгариным, о котором у Пушкина в ту пору Вы не найдёте ничего острого и критического. Вот что пишет поэт Булгарину в ноябре 1827 года: «Напрасно думали Вы, любезнейший Фаддей Венедиктович, чтоб я мог забыть свое обещание – Дельвиг и я непременно явимся к Вам с повинным желудком сегодня в 3 1/2 часа. Голова и сердце мое давно Ваши». А вот что Булгарин тогда же пишет о Пушкине: «Я познакомился с Пушкиным. Другой человек, как мне его описывали, и каковым он был прежде в самом деле. Скромнен в суждениях, любезен в обществе и дитя по душе. Гусары испортили его в лице».

Москва подбаловала, а несчастья и тихая здешняя жизнь его образумили».

Пушкин очевидным образом не позволял себе никаких острых политических деклараций. В донесении политического сыщика фон-Фока Бенкендорфу, датированном октябрём того же года читаем: «Поэт Пушкин ведет себя отлично хорошо в политическом отношении. Он непритворно любит государя и даже говорит, что ему обязан жизнью, ибо жизнь так ему наскучила в изгнании и вечных привязках, что он хотел умереть. Недавно был литературный обед, где шампанское и венгерское вино пробудили во всех искренность. Шутили много и смеялись и, к удивлению, в это время, когда прежде подшучивали над правительством, ныне хвалили государя откровенно и чистосердечно. Пушкин сказал: «меня должно прозвать или Николаем, или Николаевичем, ибо без него я бы не жил. Он дал мне жизнь и, что гораздо более, – свободу: виват!» В ещё одном донесении фон-Фока, написанном почти тогда же находим почти то же: «Поэт Пушкин здесь (*в Петербурге*). Он редко бывает дома. Известный Соболевский возит его по трактирам, кормит и поит на свой счет. Соболевского прозвали *брюхом Пушкина*. Впрочем, сей последний ведет себя весьма благоразумно в отношении политическом».

Соболевский действительно тогда некоторое время жил между Петербургом и Москвой и во время своих приездов в столицу по уже сложившейся привычке, или – если угодно, традиции, за свой счёт кормил Пушкина в петербургских трактирах и ресторанах.

Зима в Петербурге была временем салонов. Многие из них открылись для Пушкина и он с удовольствием в них бывал, более всех, однако, предпочитая салон Хитрово и с таким же, если не с большим удовольствием бывая в салоне вдовы Карамзина Екатерины Андреевны, где его любили и с большим удовольствием принимали. Пушкин любил салонное общение. По общему признанию, он был скучен и незаметен в больших компаниях, зато в небольших обществах, особенно – в мужских, во время серьёзных разговоров он часто бывал просто великолепен – его суждения о литературе, о русской истории, о положении России как внешнем, так и внутреннем в ту пору уже были очень зрелыми и глубокими. Вот, к примеру, что было написано им в то время, о котором мы с Вами тут сейчас говорим: «Иностранцы, утверждающие, что в древнем нашем дворянстве не существовало понятие о чести (*point d'honneur*), очень ошибаются. Сия честь, состоящая в готовности жертвовать всем для поддержания какого-нибудь условного правила, во всем блеске своего безумия видна в древнем нашем местничестве. Бояре шли на опалу и на казнь, подвергая суду царскому свои родословные распри. Юный Феодор, уничтожив сию гордую дворянскую оппозицию, сделал то, на что не решились ни могущий Иоанн III, ни нетерпеливый внук его, ни тайно злобствующий Годунов. Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие. «Государственное правило, – говорит Карамзин, – ставит уважение к предкам в достоинство гражданину образованному». Греки в самом своем унижении помнили славное происхождение свое

и тем самым уже были достойны своего освобождения... Может ли быть пороком в частном человеке то, что почитается добродетелью в целом народе? Предрассудок сей, утверждённый демократической завистью некоторых философов, служит только к распространению низкого эгоизма. Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя, нами им переданное, не есть ли благороднейшая надежда человеческого сердца?»

А теперь спросим: где Пушкин мог говорить о таких вещах, как не в аристократических салонах? Мог он найти понимание в таких мыслях у братьев

Полевых и у Погодина, или даже у милейшего Плетнёва? Аристократическое общение было закономерным следствием аристократического воспитания, которое он получил, а точнее говоря – не просто получил, а впитал в себя. Утончённость – далеко не худшее человеческое свойство, которым обладают далеко не все. Пушкин этим свойством обладал в полной мере и закономерно стремился туда, где концентрировались люди, также обладавшие этим свойством, или – претендовавшие на такое обладание.

Кстати, Дельвиг, безгранично любивший Пушкина, нередко пенял ему за излишнее стремление в аристократические круги и – за неравнозначное отношение к соученикам по Лицею, к которым сам Дельвиг, в отличие от Пушкина, относился ровно, никого явно не выделяя, и никем явно не пренебрегая. В свете этого вполне логичным выглядит то, что те, кого Пушкин не считал себе ровней, чувствовали это, и составили о поэте свои критические наблюдения, которые, если отбросить их обострённость, могли быть не лишены глубоких оснований.

Вот что пишет в те дни К.А. Полевой: «Самолюбие его проглядывало во всем. Он хотел быть прежде всего светским человеком, принадлежащим к аристократическому кругу; высокое дарование увлекало его в другой мир, и тогда он выражал свое презрение к *черни*, которая гнездится, конечно, не в одних рядах мужиков. Эта борьба двух противоположных стремлений заставляла его по временам покидать столичную жизнь и в деревне свободно предаваться той деятельности, для которой он был рожден. Но дурное воспитание и привычка опять выманивали его в омут бурной жизни, только отчасти светской. Он ошибался, полагая, будто в светском обществе принимали его, как законного сочлена; напротив, там глядели на него, как на приятного гостя из другой сферы жизни, как на артиста, своего рода Листа или Серве. Светская молодежь любила с ним покутить и поиграть в азартные игры, а это было для него источником бесчисленных неприятностей, так что он вечно был в раздражении, не находя или не умея занять настоящего места. Очень заметно было, что он хотел и в качестве поэта играть роль Байрона, которому подражал не в одних своих стихотворениях... Пушкин, кроме претензии на аристократство и несомненных успехов в разгульной жизни, считал себя отличным танцором и наездником».

Танцором и наездником, между прочим, он действительно был отличным, и аристократом тоже был – это тоже отрицать невозможно, а вот насчёт его принятия его в светском обществе Полевой скорее всего прав, и мы об этом дальше ещё не раз поговорим.

Издательские дела Пушкина шли блестяще – в конце декабря у Смирдина вышло второе издание его «Бахчисарайского фонтана», а в конце января-начале февраля в продаже почти одновременно появились четвёртая и пятая главы «Евгения Онегина». Если политическая слава поэта Пушкина (добавим – к его счастью) постепенно угасала, то литературная его слава росла, и была близка к пику своего расцвета. К удовольствию Пушкина, рост этой славы сопровождался и ростом его же финансового благополучия, с которым он, однако, не мог удачно совладать, периодически отправляя в картёжный банк немалую часть своих доходов. Напомним тут же о том, что картёжный банк со своей стороны далеко не всегда благоволил к Пушкину, который никогда не играл *навёрное* – шулерские ходы были противны поэту, игру он рассматривал, как состязание с судьбой, возможность бросить ей вызов, а не как способ заработка. В то же самое время, в числе его противников нередко оказывались люди, способные на нечистоплотные ходы, что в свою очередь, било по карману поэта.

Если сказать тут несколько слов о творческих итогах 1827 года, то следует отметить, что Пушкин за это время написал около десятка первоклассных

стихотворений и ещё десятка полтора тоже первоклассных, скажем так, ситуативных наброска. Это было очень неплохо, но в Михайловском он писал больше – получается, что Москва и Петербург не располагали даже к фрагментарному творчеству, и несомненной причиной этого был образ жизни поэта. Вряд ли он это замечал, вряд ли он над этим задумывался, но первые тревожные звоночки его будущей совсем не простой творческой судьбы прозвенели уже тогда.

Кстати, нам может показаться, что Пушкин разрабатывал и сюжеты и тексты своих крупных произведений, находясь, так сказать, в творческом отпуске, но один случай показывает, что это не так. Тогда же, примерно в феврале 1828 года сестра Пушкина после затяжного конфликта с родителями твёрдо решила выйти замуж за своего избранника, Н.И. Павлицева, который был не мил Надежде Осиповне. В итоге Пушкину по просьбе Ольги Сергеевны пришлось выступить в роли примирителя между родителями и новобрачными. Поэт провёл трёхчасовые переговоры с родителями и успешно справился с ролью, но через несколько дней он сказал сестре такие слова: «Ты мне испортила моего Онегина: он должен был увезти Татьяну, а теперь... этого не сделает». Мы все знаем содержание заключительной главы пушкинского романа и нам просто не представляется возможной иная его концовка, но эта история показывает, насколько серьёзно и глубоко продумывал поэт все сюжетные повороты своего великого произведения.

Тогда же в Петербурге продолжились знакомство и дружба Пушкина с Мицкевичем. Они часто встречались в компаниях литераторов по разным поводам. Мы уже говорили о том, что Мицкевич был выдающимся мастером литературной импровизации и эта сторона его гения вызывала восхищение у многих, ну, и конечно же – у Пушкина. Вот как описывает одну из таких импровизаций Вяземский: «Третьего дня провели мы вечер и ночь у Пушкина с Жуковским, Крыловым, Хомяковым, Мицкевичем, Плетневым и Николаем Мухановым. Мицкевич импровизировал на французской прозе и поразил нас, разумеется, не складом фраз своих, но силою, богатством и поэзией своих мыслей. Между прочим, он сравнивал мысли и чувства свои, которые нужно выражать ему на чужом языке, с младенцем, умершим во чреве матери, с пылающей лавой, кипящей под землей, не имея вулкана для своего извержения. Удивительное действие производит эта импровизация. Сам он был весь растревожен, и все мы слушали с трепетом и слезами».

Пушкин относился к Мицкевичу с подчёркнутым пиететом. Вот что мы находим на эту тему у Полевого: «Невольно увлекшись в похвалы Мицкевичу, Пушкин сказал, между прочим: «Недавно Жуковский говорит мне: знаешь ли, брат, ведь он заткнет тебя за пояс. Ты не так говоришь, – отвечал я, – он уже *заткнул меня*». – У Пушкина был рукописный подстрочный перевод «Конрада Валенрода», потому что наш поэт, восхищенный красотами подлинника, хотел, в изъявление своей дружбы к Мицкевичу, перевести всего «Валенрода». Он сделал попытку, перевел начало, но увидел, как говорил он сам, что не *умеет* переводить, т.е. не умеет подчинить себя тяжелой работе переводчика».

Мицкевич взаимно с высшей долей приязни относился к Пушкину, приглашал его к себе в гости на обеды, где присутствовали и другие столичные литераторы, и польские друзья Мицкевича. Один из них, доктор Моравский, оставил такое воспоминание о Пушкине: «С тех пор я часто встречал Пушкина. За исключением одного раза, на балу, никогда я его не видел в нестоптанных сапогах. Манер у него не было никаких. Вообще держал он себя так, что я никогда бы не догадался, что это Пушкин, что это дворянин древнего рода. В обхождении он был очень

приветлив. Роста был небольшого; идя, неловко волочил ноги, и походка у него была неуклюжая. Все портреты его, в общем, похожи, но несколько приукрашены. Его речь отли-

чалась плавностью, в ней часто мелькали грубые выражения. Когда мне случалось немножко побыть с ним, я неизменно чувствовал, что мне трудно было бы привязаться к нему, как к человеку. В то время вся столичная публика относилась к нему с необыкновенным энтузиазмом, восхищением, восторгом».

Уточним, что здесь мы приводим не взгляд Мицкевича, а взгляд заезжего польского шляхтича, но и этот взгляд интересен для нас. Мы с сожалением должны признать, что в высокомерных оценках Пушкина Моравским и некоторыми другими поляками из круга Мицкевича могла быть доля правды, и если поэт одевался так, как считал нужным, и тут и обсуждать-то особо нечего, то в иных отношениях повод для серьёзных сожалений у нас есть, и немалый. В первую очередь он касается карточной игры. Вот слова М.А. Максимовича: «... в Петербурге Мицкевич застал Пушкина у одного общего знакомого за банком и что Пушкин очень замешался от неожиданной встречи с ним». Вот слова Н.Д. Киселёва: Я бывал у Пушкина и видел, как он играет. Пушкин меня гладил по головке и говорил: «Ты паинька, в карты не играешь и любовниц не водишь». На этих вечерах был Мицкевич, большой приятель Пушкина. Он и Соболевский тоже не играли». А вот рассказ Николая Головина: «... у Пушкина была в полном разгаре игра в фараон, когда вошел Мицкевич и занял место за столом. Дело было летом. Пушкин, с засученными рукавами рубашки, погружал свои длинные ногти в ящик, полный золота, и редко ошибался в количестве, какое нужно было каждый раз захватить. В то же время он следил за игрою своими большими глазами, полными страсти. Мицкевич взял карту, поставил на нее пять рублей ассигнациями, несколько раз возобновил ставку и протерся с обществом без какого-либо серьезного разговора».

Жаль, но Пушкин обнаруживал перед Мицкевичем своё нравственное падение, да, ему было стыдно за свою слабость, но играть от этого он не переставал. В последней приведённой нами истории Мицкевич обнаруживает себя, как человек, чуждый нездорового азарта – вполне может статься, что он и пять рублей-то поставил для того, чтобы дополнительно не смущать Пушкина.

К чести Мицкевича в этом плане следует добавить и то, что он никогда не писал ничего осуждающего нашего великого поэта за его печальные страсти. Почему? Во-первых – он был человеком чести и не считал для себя возможным говорить что-либо недостойное о том человеке, которого глубоко уважал и чтит, как брата по духу. Во-вторых – Мицкевич, как никто другой в окружении Пушкина понимал, что создание выдающихся произведений не связано прямым и непосредственным образом с правильным и неправильным образом жизни. Логический посыл вроде «прочитал три хороших книги – написал хорошее стихотворение, прочитал ещё три хороших книги – написал ещё одно хорошее стихотворение» работает, но работает у дилетантов, графоманов, может быть – у небездарных посредственностей. Гений дышит и пишет иначе, он пишет из себя в избранные минуты и часы, движимый таинственным духом вдохновенного наития. Да, беречь себя надо – это сбережение, кстати, почти не увеличивает количества гениальных строк в единицу времени, оно увеличивает продолжительность жизни, а значит, и общее количество этого времени, которое в конечном итоге может вылиться в дополнительно написанные гениальные строки.

Мицкевич жил ради избранных целей и потому легко отказывался от немалого числа искушений, Пушкин жил ради жизни, как таковой, и от искушений отказывался с величайшим трудом. Мицкевич умом предвосхищал то, что Пушкин

не мог или не хотел предвосхищать чувством, гениальный поляк не мог этого не видеть и не грустить по этому поводу, хотя Пушкин, безусловно, не находился в центре его внимания – там были Польша, творчество, любовь...

Ради полного довершения этой темы мы должны сказать, что в мае 1828 года Мицкевич присутствовал на чтении Пушкиным его «Бориса Годунова» в одном из петербургских круж-

ков, и там он мог в самой полной мере оценить и поэтическое мастерство русского гения, и его умение раскрыть внутреннее содержание своего произведения при личном его исполнении.

Получилось так, что в этой книге немало строк уделено истории отношений Пушкина и Анны Керн. Тогда же, в конце марта, эти отношения достигли закономерной точки, о которой мы находим в письме Пушкина Соболевскому; «Ты ничего не пишешь мне о 2100 р., мною тебе должных, а пишешь о M-de Керн, которую с помощью божьей (...)». Опустим солдатское слово, которое сладкий «Яблочный пирог» применил в отношении belle dame – желающие точности легко найдут это слово в оригинале пушкинского письма, но неужели и после этих слов поэта кто-то будет говорить что-то о высокой страсти, которая тут будто бы разворачивалась? Отдадим, однако Пушкину должное – отношения с Анной Керн он после этого не прекратил, они остались весьма приятными, но и в сферу постоянных они не перешли – цель-то ведь была уже достигнута!

В те дни поэт написал своё знаменитое стихотворение, озаглавленное «Друзьям», оно было ответом на критику его «Стансов», адресованных царю. За «Стансы» Пушкину досталось и от врагов и от недругов – одни винили его отказе от принципов свободомыслия, а другие – в беспринципном подхалимаже. Пушкин был обязан ответить, и он ответил:

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.

Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами.

О нет! хоть юность в нем кипит,
Но не жесток в нем дух державный;
Тому, кого карает явно,
Он втайне милости творит.

За эти строки Пушкину досталось со всех сторон ещё раз, но критики из обоих лагерей не пожелали внимательно вчитаться в последний куплет этого неоднозначного стихотворения:

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.

Зато все строки внимательно прочитал самый главный читатель – ведь стихотворение сначала через Бенкендорфа было передано для прочтения императору Николаю Павловичу. Надо отдать должное мудрости императора, который сказал об этом стихотворении, что «его можно распространять, но нельзя печатать». Николай Павлович не хотел явной лести в свой адрес, не хотел подставлять Пушкина под удар несправедливой критики и прекрасно уловил смысл последнего куплета стихотворения, в котором поэт неким образом, как «небом избранный певец» в чём-то уравнивается с помазанником Божиим на царском престоле.

23 марта у Пушкина был очередной приятный день: в печати появилась шестая глава «Евгения Онегина». Очередной крупный гонорар и очередная волна читательского интереса безусловно были радостным событием для поэта. Незадолго до этого он отправил в Тригорское по три экземпляра четвёртой и пятой глав. На одном из экземпляров каждой главы он надписал церковную литургическую фразу «Твоя от твоих». Книги предназначались Евпраксии Вульф

и надпись эта косвенно свидетельствовала о том, что физический образ Татьяны во многом навеян впечатлениями поэта от встреч с Евпраксией.

Всю зиму отношения России и Турции отмечались крайней неустойчивостью и нарастанием взаимных претензий друг к другу. В середине апреля всё это закончилось тем, чем и должно было закончиться: началась война. Пушкин очень серьёзно встрепенулся – он всегда хотел побывать на войне. Поэт сразу же обратился к императору через Бенкендорфа с просьбой отправить его в действующую армию. Поэт подбивал поехать на войну и Вяземского, тот активной инициативы в сторону совместной поездки не проявлял, но и ехать не отказывался, трактуя необходимость путешествия самого Пушкина на войну в письме А.И. Тургеневу так: «Здесь Пушкин ведет жизнь самую рассеянную, и Петербург мог бы погубить его. Ратная жизнь переварит его и напаяет воображение существенностью». В тот же самый день Вяземский пишет своей жене совершенно о другом: «Вчера немного восплясовали мы у Олениных. Ничего, потому что никого замечательного не было. Девушка Оленина довольно бойкая штука. Пушкин называет ее «драгунчиком» и за этим драгунчиком ухаживает».

В поездке на войну Пушкину было отказано – отказ он получил в предельно вежливой форме. Поскольку поэт в это время заболел, к нему домой отправили чиновника Третьего отделения, который в высшей степени корректно объяснил Пушкину, что отказ мотивирован опасениями государя за жизнь поэта. Вконец расстроенный Пушкин несколько успокоился и тут же стал просить разрешения на полугодовую поездку в Париж. Императора в это время в столице уже не было – он отбыл в действующую армию, и Бенкендорф просьбу Пушкина о заграничной поездке просто не стал доводить до сведения государя.

Об истинных мотивах отказа Пушкину в поездке мы можем догадываться, исходя из письма великого князя Константина Павловича Бенкендорфу, написанного тогда же, в апреле 1828 года: «Неужели вы думаете, что Пушкин и князь Вяземский действительно руководствовались желанием служить его величеству, как верные подданные, когда они просили позволения следовать за главной императорской квартирой? Нет, не было ничего подобного; они уже так заявили себя и так нравственно испорчены, что не могли питать столь благородного чувства. Поверьте мне, что в своей просьбе они не имели другой цели, как найти новое поприще для распространения своих безнравственных принципов, которые доставили бы им в скором времени множество последователей среди молодых офицеров».

Слова эти вряд ли можно считать справедливыми, но они очень много говорят об отношении ведущих политиков государства к стремлениям великого поэта – может быть, и поверхностным, но вполне искренним.

Несмотря на все объяснения со стороны власти Пушкин был безусловно очень расстроен отказом в поездке на турецкий фронт и банальным игнорированием его желания побывать в Париже. Душа его требовала какого-то занятия и это занятие

он нашёл в ухаживании за Анной Алексеевной Олениной, младшей дочерью президента Петербургской Академии художеств А.Н. Оленина. В ту пору ей было девятнадцать лет и вскоре должно было исполниться двадцать. В этом возрасте девушки обычно уже отлично знают, чего они в действительности хотят. Анна Алексеевна не была запредельно красива, но очень и очень привлекательна. Это была девушка из самого настоящего высшего петербургского общества, ещё в семнадцать лет ставшая фрейлиной императрицы. Оленина не спешила замуж, чем немного расстраивала своих родителей, для которых содержание такой видной невесты обходилось в немалые суммы денег.

Известно, что Пушкин был большим почитателем женских ножек, и, без сомнения, у Олениной как раз были те самые ножки, которые очень нравились Пушкину, и которые он несколько раз упомянул в своих ярких стихотворениях, посвящённых Олениной. Эти же ножки в ту пору были многократно изображены на страницах пушкинской поэтической тетради, там же многократно поэт нарисовал профиль девушки, привлёкшей его внимание. В тех же тетра-

дах на страницах того периода можно не раз найти анаграммы имени и фамилии Олениной: Anineio, Etenna, Aninelo, а в одном месте есть даже рассыпаны тщательно зачеркнутая, но все же поддающаяся разбору запись Annete Pouschkine.

Пушкин, вне всякого сомнения действительно увлёкся этой весьма незаурядной девушкой, а поскольку годы шли, и поэт всё острее ощущал необходимость брачного выбора, он не мог не соотнести своё ухаживание за Анной с желанием жениться на ней – для банального адюльтера Анна Оленина не подходила никоим образом.

Пушкин ухаживал за ней на балах. Вяземский пишет 7 мая: «С девицей Олениной танцевал я покурри и хвалил ее кокетство... Пушкин думает и хочет дать думать ей и другим, что он в нее влюблен, и вследствие моего покурри играет ревнивого».

Пушкин часто ездил и на дачу к Олениным в гостеприимное Приютино. Оленины принимали у себя одновременно и высшую петербургскую знать, и литераторов и художников. И тех и других там было примерно одинаковое количество, и никто не чувствовал там себя стеснённым – аристократов там не заставляли вести жеманные беседы, а к художникам и поэтам не приставали с расспросами о творческих планах, не заставляли художников рисовать, а поэтов читать стихи – всё было просто, изысканно и элегантно. Не удивительно, что усадьба в Приютино всегда была полна посетителями. Естественно, Пушкин тоже проводил там немало времени с хлебосольными хозяевами и их гостями, безусловно, уделяя первостепенное внимание предмету своего увлечения. Читаем у того же Вяземского: «21-го ездил я с Мицкевичем вечером к Олениным в деревню в Приютино, верст за семнадцать. Там нашли мы и Пушкина с его любовными гримасами».

Могло ли из этого что-либо получиться? Конечно, Пушкин думал, что могло – он был известным на всю Россию поэтом, он был самым лучшим русским поэтом, он умел вести красивую беседу, в том числе – и с женщинами, и умел быть в этой беседе очень привлекательным. Кроме этого, он был относительно молод и здоров, он был финансово состоятелен – кстати, в самом начале мая Смирдиным был переиздан его «Кавказский пленник», что принесло очередной неплохой доход. Учитывая свои кавалерские преимущества, поэт начал уделять Анне Алексеевне повышенное внимание, включая сюда и создание нескольких замечательных лёгких стихотворений («Ты и вы», «Город пышный, город бедный», «Зачем твой дивный карандаш»). Ухаживания Пушкина за Олениной с

одной стороны носили полушутливый характер, с другой стороны – были весьма серьёзными, и были замечены почти всеми, кто мог в тогдашней столице интересоваться этим занятным вопросом.

Олениной надо было как-то реагировать на ухаживания знаменитого поэта. Но кем же мог быть Пушкин в её глазах? Давайте начнём с внешности и вспомним описание поэта доктором Моравским, кроме которого, есть, кстати, и другие описания подобного рода, но, я сказал бы, более суровые. Да, встречают по одежке, а провожают по уму – это правда, но девушка, окружённая блестяще одетыми молодыми людьми, может скептически отнестись к человеку, не одетому с иголочки.

Пушкину было уже под тридцать лет, и выглядел он старше своих лет, на затылке начала появляться проплешина, и по общему мнению, возраст сильно сказывался на нём – следствия неумеренной жизни, несмотря на могучий от природы организм, давали себя знать явным образом. Вот что мы находим об этом у К.А.Полевого: «В 1828 году Пушкин был уже далеко не юноша, тем более, что, после бурных годов первой молодости и тяжких болезней, он казался по наружности истощённым и увядшим; резкие морщины виднелись на его лице; но он все еще хотел казаться юношею».

А вот что сама Оленина записала тогда же в своём дневнике: «Бог, даровав ему гений единственный, не наградил его привлекательной наружностью. Лицо его было выразительно, конечно, но некоторая злоба и насмешливость затмевали тот ум, который виден был в голу-

бых, или, лучше сказать, стеклянных, глазах его. Да и прибавьте к тому ужасные бакенбарды, растрепанные волосы, ногти, как когти, маленький рост, жеманство в манерах, дерзкий взор на женщин, которых он отличал своей любовью, странность нрава, природного и принужденного, и неограниченное самолюбие – вот все достоинства телесные и душевные, которые свет придавал русскому поэту XIX столетия».

Конечно, Олениной льстило то, что за ней очень активно ухаживает выдающаяся знаменитость, она кокетничала и с удовольствием предоставляла возможность собой восхищаться – и, пожалуй, не более того. О том, как она воспринимала Пушкина в светском обществе мы находим в одном из её поздних воспоминаний: «Он (Пушкин – прим. авт.) был замечательно остроумен и весел только в маленьком интимном кружке добрых знакомых; в большом же обществе он, казался напыщенным – желая привлечь внимание всех своими остротами и шутками. Он хотел «briller» (блистать – прим. авт.)».

Мы можем сколько угодно не соглашаться с мнением Анны Алексеевны, или наоборот – соглашаться с ним, но это был её личный взгляд на поэта, который, согласитесь, сулил Пушкину не так много ярких брачных перспектив.

Пушкин конечно же ощущал неровное течение своей жизненной реки, кроме этого, его беспокоили не вполне ясные предчувствия, и в день рождения, 26 мая он написал одно из знаменитейших своих стихотворений:

Дар напрасный, дар случайный,

Жизнь, зачем ты мне дана?

Иль зачем судьбою тайной

Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью

Из ничтожества воззвал,

Душу мне наполнил страстью,

Ум сомненьем взволновал?..

Цели нет передо мною:

Сердце пусто, празден ум,

И томит меня тоскою

Однозвучный жизни шум.

Мы не случайно приводим здесь текст этого стихотворения полностью – оно чрезвычайно важно для понимания сущности событий происходивших с поэтом и в то время, и впоследствии. Когда какой-либо критик начинает разбирать чьё-либо одухотворённое произведение, в этом случае обычно принято говорить о том, что сочинитель во время написания произведения находился в определённом состоянии, и чувствовал на себе влияние высших сил, которые помогали ему передать свои чистые чувства на бумаге и так далее, и тому подобное... В некоторых случаях, когда они действительно касаются уникальных человеческих творений,

эти утверждения бывают не далеки от истины, но гораздо чаще происходит нечто иное: что бы человек ни делал, он в одном случае приближается к делам Божия промысла о нём, в другом случае – удаляется от него – в зависимости от того, какие чувства этот человек испытывает при своём действии – хоть он делай табуретки, хоть он торгуй калачами, хоть он пиши стихи. Говоря об этом мы не сообщаем читателю ничего нового – это прописная духовная истина, которую знает всякий семинарист, обучающийся на первом курсе семинарии и которую обязаны знать все люди, переступающие порог любого храма любой церкви практически любой конфессии.

К величайшему сожалению, в стихотворении, о котором мы сейчас говорим, нет ничего, что бы связывало его автора с Творцом мироздания, с изначальной идеей человеческого бытия, со Спасителем мира и с самой его идеей спасения грешной души. Пушкин, создавая это стихотворение, может быть и не находился под непосредственным воздействием духа князя мира сего, но гениальным, то есть, привычным для него образом описал чувство человека, находящегося в ситуации богоотрицания и богоотвержения. Мне могут возразить: дескать, поэт же нигде не говорит тут о том, что Бога нет. Мы вынуждены будем с этим согласиться, но в свою очередь сразу же можем ответить: Пушкин говорит о том, что некто создал его враждебной властью из ничтожества и привёл в итоге к пустоте сердца и праздности ума, то есть – к бессмысленности существования. Тем самым поэт отрицает само дело Творца по созиданию мира и все смыслы его существования.

Печально, но, скорее всего, мимо своего желания Пушкин при написании этого произведения выступил в роли невольного, но очень талантливого и от того – успешного слуги того, кто в эти минуты стал его временным хозяином, а мы тут в очередной раз обязаны напомнить о глубочайшей ответственности поэта за своё слово – стихотворение, написанное Пушкиным в свой день рождения было очевидным образом сотворено в нелёгкую для автора минуту, но далее оно должно было возвращать самого Пушкина к его печальным чувствам при каждом повторном чтении собственных стихов, подвигая его как духовную личность в определённую сторону, и самое печальное – оно, это стихотворение неминуемо должно было выступить в роли элегантно, блестящей написанной духовной отравы для неокрепших душ, взявших его в свои руки.

В духовной жизни практически не бывает случайностей и непонятных совпадений. Прошло совсем немного времени, и в Петербурге снова где-то всплыло злополучное стихотворение «Андрей Шенье» – в ненужное время в ненужном месте, и недоброжелатели Пушкина получили очередную возможность самоутвердиться за счёт очередного разбирательства по поводу смыслов,

вложенных в это стихотворение. Разбирательство довольно скоро вышло на самые высокие уровни, рассматривалось в Сенате 11 июня и, наконец, закончилось в Государственном совете, который 28 июня отдельным постановлением своего общего собрания по делу о стихотворении «Андрей Шенье» учредил над Пушкиным секретный надзор.

Печальным для Пушкина был тот факт, что отец Анны Олениной Алексей Николаевич был членом Сената, где в качестве статс-секретаря департамента гражданских и уголовных дел Сената участвовал в заседании 11 июня, а значит, находился в полном курсе неприятных для поэта событий. Политическая неблагонадёжность соискателя руки его дочери не могла быть хорошим основанием для развития отношений с потенциальным зятем. 29 июня, уже после заседания Государственного совета, Пушкин был вызван на заседание специальной комиссии, созданной по этому поводу и там был вынужден давать длинные объяснения насчёт своего стихотворения, которые сводились к перечислению уже известных нам фактов, и которые были условно приняты комиссией к сведению. Далее поэт должен был ожидать заключения комиссии по его вопросу.

Этим неприятности Пушкина не закончились. Тогда же, в июне, крепостные крестьяне отставного штабс-капитана Митькова подали митрополиту петербургскому Серафиму жалобу на то, что их хозяин всё время рассказывает им о том, что Бога нету, и в доказательство читает им «Гавриилиаду» писателя Пушкина, чем развращает их. К жалобе была приложена и рукопись поэмы. 4 июля Митьков был арестован. Началось новое следствие, и хотя о нём с самого начала Пушкину не было ничего известно, предчувствие грядущих неприятностей не оставляло его, и полное печальных слов стихотворение «Снова тучи надо мною...» стало ярким свидетельством тогдашнего взгляда поэта на свою жизнь.

В свете этих тягостных происшествий выход поэмы «Братья-разбойники» и гонорар, полученный за него остался приятным, но малозаметным событием июньских дней 1828 года, правда, финансовых затруднений поэт в это время не испытывал...

Весь июнь Пушкин продолжал ухаживать за Олениной и ухаживания эти приняли такой характер, что игнорировать их семья избранницы поэта уже не могла. Понятно, что родители Анны были не в восторге от возможного выбора их дочери – мать Анны в девичестве носила фамилию Полторацкая и приходилась родной тёткой Анне Керн. Естественно, о множестве приключений Пушкина она могла знать из первых уст, ну, и кроме того – земля слухом полнится. В петербургских салонах было очень не сложно получить полную, если не избыточную информацию и о характере Пушкина, и о его всевозможных любовных историях. Об источниках информации отца Олениной мы уже упоминали. Можно не сомневаться в том, что родители Анны Алексеевны отговаривали её от необдуманного выбора, и можно не сомневаться в том, что им это было не очень сложно сделать, но при этом необходимо было соблюсти все приличия, и ни с кем при этом не поссориться.

Родители Олениной и Пушкин в итоге договорились встретиться на даче в Приютино в один из тогдашних длинных летних дней для того, чтобы в узком семейном кругу обсудить все вопросы, связанные с возможным сватовством. В назначенный час вся семья Олениных собралась за дачным столом, во льду держали шампанское. Пушкина не было. Его ждали долго, наконец решили обедать без него. Через несколько часов после назначенного времени поэт появился со смущённым видом. Старик Оленин вежливо пригласил его к себе в

кабинет, где долго говорил с ним с глазу на глаз. Понятно, что сватовство не состоялось. Пушкин после этого ещё не раз побывал в Приютино, но случалось это редко и по неким относительно серьёзным поводам.

Что мы можем сказать об этом странном сватовстве? Действительно ли собирался Пушкин жениться? Если бы собирался, то наверняка не стал бы опаздывать – добраться до Приютино из Петербурга было совершенно не сложно. Скорее всего, поэт предполагал завуалированный отказ, и чтобы не попадать в глупое положение и не ставить в стеснённое положение Олениных, он решил вскрыть ситуацию простейшим образом. Простецы в подобных случаях обычно напиваются. Поэт просто не явился на званный обед. О том, что Оленина и не собиралась за Пушкина замуж, она однажды обмолвилась следующим образом: «Он был вертопрах, не имел никакого положения в обществе и, наконец, не был богат». Эти слова Анны Олениной можно оценивать как угодно, но из них совершенно очевидным образом, что Пушкин просто не входил и не мог входить в число реальных претендентов на её руку.

Примерно в это же самое время начал стремительно разворачиваться роман поэта с Аграфеной Закревской, в девичестве Толстой. Красавица Закревская, ровесница Пушкину по годам, была замужем за генерал-губернатором Финляндии генералом А.А.Закревским. Разница между мужем и женой составляла около восемнадцати лет и семейную их жизнь при всём желании гармоничной нельзя было назвать никак. Возле Закревской всё время крутились какие-то молодые люди, которых она дарила разными формами своей душевной и физической благосклонности. Большую часть времени Закревская проводила не в скучной Финляндии, а в столичном Петербурге, где и увидел её Пушкин. Вяземский в одном из своих майских писем

жене, уже ранее цитированном нами в связи с Олениной пишет такую фразу: «Зато вчера на балу у Авдулиных совершенно отбил он (Пушкин – прим. авт.) меня у Закревской, но я не ревновал».

Увидев Закревскую один раз, Пушкин не мог не проявлять к ней внимание в дальнейшем – тут его сексуальный кодекс работал без сбоев – мы видели это с Вами на примере Анны Керн. Как это сочеталось с ухаживаниями за Олениной – мы не знаем, но зато прекрасно помним, как встречи с девицами известного образа жизни сочетались с поездками к Ушаковой. Так или иначе, но к концу июля 1828 года связь поэта с Закревской вступила в фазу активнейших отношений.

В этой связи с Закревской Пушкин реализовал свою определённую мечту, которая заключалась в поддержании горячих взаимных интимных отношений с блестящей аристократкой и первостатейной красавицей, а именно такой Закревская и была. Она не отличалась особенным умом, ей совершенно не интересно было общество женщин. По характеру она была весела, очень смешлива, легка, но временами у неё бывали резкие перепады настроения, от которых мог пострадать кто угодно, попавшийся в это время под её руку. Конечно, перепады настроения экспансивной графини Пушкину нравиться не могли, а вот всё остальное было ему интересно в очень высокой степени.

Отношения с Закревской на время очень сильно захватили Пушкина, это о ней он пишет своё замечательное стихотворение «Портрет»:

С своей пылающей душой,
С своими бурными страстями,
О жены севера, меж вами
Она является порой

И мимо всех условий света
Стремится до утраты сил,
Как беззаконная комета
В кругу расчисленном светил.

Читая это стихотворение, трудно предположить, кто кого соблазнил в этом временном альянсе, но его мощнейшая физиологическая, телесная составляющая очевидна любому непредвзятому наблюдателю. Перспектива у этих отношений была соответственная.

Однако, у этой ситуации была одна сложность, которой Пушкин, к величайшему сожалению для него пренебрегал – Закревская была замужем и поэт уже в очередной раз, можно сказать, по привычке, нарушил одну из Божьих заповедей. Скорее всего, он в тот время совершенно не задумывался об этом аспекте, но – незнание закона или пренебрежение им не освобождает от ответственности, – эта нехитрая юридическая истина известна всем, но очень многие надеются не подпасть под действие этой истины. Таков в этом плане был и Пушкин, таковы, к сожалению и многие из нас, теперешних.

Скорее всего, поэту казалось, что в истории с Закревской он находит моральную и физическую компенсацию за неудачу в истории с Олениной. В плане какой-то примитивной психотерапии это действительно могло быть так, но в действительности всё было совершенно по другому. Отказ у Олениных Пушкин получил системно – его там не восприняли именно в системном плане и по внешности, и по предыдущему образу жизни, и по системе поточного поведения и по системе финансовых доходов. Это было самое настоящее фиаско, другое дело – нужна ли была Пушкину именно Оленина с её завышенными претензиями? Этот вопрос останется частично открытым, частично – потому, что частично на него ответ дал сам Пушкин, но – лишь частично! Победа Пушкина над Закревской или победа Закревской над Пушкиным были их общим духовным поражением на Божьей ниве брачных человеческих отношений.

Вообще, что должен делать любой человек, потерпевший какое-либо поражение? Он должен проанализировать ситуацию и исправить ошибки, чтобы не допустить новых поражений. Что должен делать полководец, получивший удар в чувствительное место? Он должен восстановить оборону в месте пропущенного удара, и укрепить оборону в местах других возможных ударов противника. Что же сделал наш герой? Он после одной ошибки почти на том же месте совершил другую. Но этого было мало!

Пушкин взялся не в шутку играть в карты. Вот Вяземский пишет ему 26 июля: «Слышу от Карамзиных жалобы на тебя, что ты пропал для них без вести, а несется один гул, что ты играешь не на живот, а на смерть. Правда ли?» В последних двух словах звучит попытка образумить друга – как мы увидим впоследствии – напрасная, тучи же над пушкинской головой и не думали расходиться.

25 июля комиссия, организованная по делу «Гавриилиады» постановила «с.-петербургскому генералу-губернатору, призвав Пушкина к себе, спросить: им ли была писана поэма Гавриилиада? В котором году? Имеет ли он у себя оную, и если имеет, то потребовать, чтоб он вручил ему свой экземпляр. Обязать Пушкина подпискою впредь подобных богохульных сочинений не писать под опасением строгого наказания».

Пушкину предстояли серьёзные испытания, а он в их преддверии играл в карты и развлекался в объятиях Закревской.

На беду поэта, 31 июля в квартире его сестры Ольги Сергеевны умерла Арина Родионова, няня поэта. Это был человек, искренне и глубоко любивший

Пушкина, это была молитвенница за него перед Богом – сам поэт за себя ведь особо не молился, а если и молился, то дела его духовные не слишком свидетельствовали в его пользу на небесах. О молитвенных делах Арины Родионовны мы не можем слишком много говорить потому, что почти ничего о них не знаем, но то, что она верила в Бога – это несомненно, что она молилась за ближних – это несомненно, и когда такой человек вдруг уходит из чьей-то жизни, в духовном поле оставшихся образовывается некая дырка, которая не может сразу сама собой закрыться. Это можно сравнить с потерей пулемётчика в бою в рядах обороняющегося взвода – противник ведь в таком случае непременно воспользуется слабостью, возникшей в рядах обороняющихся, и тем нужно будет потратить немало времени и усилий, чтобы как-то компенсировать утрату боеспособного и активного воина. Точно так же в нашей жизни обстоит дело с потерей молитвенника за нас – тот из читателей кто терял такого человека, сразу поймёт, о чём я говорю. Иногда на частичное возмещение потери уходит целый год, а иногда – и более того.

Не успел Пушкин проститься с няней, как ему было велено явиться на допрос к Санкт-петербургскому генерал-губернатору, где он ответил на поставленные перед ним вопросы о «Гавриилиаде». Поэт письменно удостоверил комиссию в том, что поэма была писана не им, что «Гавриилиаду» он видел в Лицее в 15-м или 16-м году и переписал её, но сама поэма писана не им. Ответы Пушкина комиссию не удовлетворили – поэту особо не верили, а если быть точным – не верили совсем. Следствие по делу продолжилось. Пушкину пришлось ещё несколько раз явиться в комиссию для дачи объяснений. В ответ на стандартно задаваемые и повторяющиеся вопросы Пушкин продолжал отвечать, что он поэму не писал, и что авторство, видимо, принадлежит покойному князю Дмитрию Горчакову.

Комиссия продолжала усердствовать, а поскольку в ней председательствовал уже известный читателю граф В.П. Кочубей, то не удивительно, что в деле снова всплыл злосчастный «Андрей Шенье» и 13 августа комиссия постановила: «Правительствующий сенат, освободя его (Пушкина – прим. авт.) от суда и следствия силою всемилостивейшего манифеста 22 августа 1826 года, определил обязать подпискою, дабы впредь никаких своих творений без рассмотрения и пропуска цензуры не осмеливался выпускать в публику, под опасением строгого по законам взыскания. Таковое Положение Правительствующего Сената удостоено высо-

чайшего утверждения. Но вместе с сим Государственный Совет признал нужным к означенному решению Сената присовокупить: чтобы по неприличному выражению Пушкина в ответах насчет происшествия 14 декабря 1825 года и по духу самого сочинения его, в октябре месяце того года напечатанного, поручено было иметь за ним в месте его жительства секретный надзор».

Цензура со стороны царя и цензура со стороны специального органа – это было уже слишком, и Пушкин, желая выяснить своё новое положение, решился обратиться к государю, но императора в это время в столице не было, и поэт написал письмо Бенкендорфу. Своё желание поэт изложил так: «Государь император в минуту для меня незабвенную изволил освободить меня от цензуры, я дал честное слово государю, которому изменить я не могу, не говоря уже о чести дворянина, но и по глубокой, искренней моей привязанности к царю и человеку. Требование полицейской подписки унижает меня в собственных моих глазах, и я, твердо чувствую, того не заслуживаю, и дал бы и в том честное мое слово, если б я смел еще надеяться, что оно имеет свою цену. Что касается до цензуры, если государю императору угодно уничтожить милость, мне оказанную,

то, с горестью приемля знак царственного гнева, прошу Ваше превосходительство разрешить мне, как надлежит мне впредь поступать с моими сочинениями, которые, как Вам известно, составляют одно мое имущество.

Надеюсь, что Ваше превосходительство поймете и не примете в худую сторону смелость, с которою решаюсь объяснить. Она знак искреннего уважения человека, который чувствует себя...»

Запомним же ошибки Пушкина, но и отдадим же должное его мужеству – он продолжал последовательно отстаивать своё право на свободу творчества!

Если свои надежды на облегчение цензурного бремени поэт мог доверить Бенкендорфу, и в конечном итоге – государю, то от бремени необходимости оправданий по делу о написании «Гавриилиады» его не мог избавить никто – даже император, поскольку вопрос о богохульстве в православном царстве был вопросом чрезвычайной ответственности и серьезнейшего разбора на высшем уровне. 19 августа Пушкин был вынужден дать очередное письменное показание петербургскому военному генерал-губернатору П. В. Голенищеву-Кутузову. Оно выглядело так: «Рукопись (*«Гавриилиады»* – прим. авт.) ходила между офицерами гусарского полка, но от кого из них именно я достал оную, я никак не упомяну. Мой же список сжег я, вероятно, в 20-м году. Осмеливаюсь прибавить, что ни в одном из моих сочинений, даже из тех, в коих я наиболее раскаиваюсь, нет следов духа безверия или кощунства над религиею. Тем прискорбнее для меня мнение, приписывающее мне произведение жалкое и постыдное».

В комиссии Пушкину и дальше не особо верили, требуя от него доказательств его версии, которых он, по понятным причинам предоставить не мог, зато ему пришлось предоставить в комиссию расписку о том, что он обязуется предоставлять все свои произведения на рассмотрение цензурного комитета. Поэт пытался сохранить присутствие духа с помощью проверенных им ранее методов. Лучше всего об этом он свидетельствует сам в письме Вяземскому, написанном 1 сентября. Вот отрывок из этого письма: «Твое письмо застало меня посреди хлопот и неприятностей всякого рода... Пока Киселев и Полторацкий были здесь, я продолжал образ жизни, воспетый мною таким образом:

А в ненастные дни собирались они часто,

Гнули, <мать их ети>..., от 50 на 100.

И выигрывали, и отписывали мелом.

Так в ненастные дни занимались они делом.

Но теперь мы все разбрелись... Я пустился в свет, потому что бесприютен. Если б не твоя медная Венера (*Агр. Фед. Закревская*), то я бы с тоски умер, но она утешительно смешна и мила. Я ей пишу стихи, а она произвела меня в свои сводники (к чему влекли меня всегда и всегдашняя склонность, и нынешнее состояние моего Благонамеренного, о коем можно сказать то же, что было сказано о его печатном тезке: ей-ей, намеренье благое, да исполнение плохое).

Ты зовешь меня в Пензу, а того и гляди что я поеду далее, «прямо, прямо на восток». Мне навязалась на шею преглупая шутка. До правительства дошла, наконец, Гаврилиада; приписывают ее мне; донесли на меня, и я, вероятно, отвечу за чужие проказы, если кн. Дм. Горчаков не явится с того света отстаивать права на свою собственность. Это да будет между нами. Все это не весело».

Мы не случайно привели столь пространный кусок из этого письма. Интересно, что Пушкин пишет Вяземскому об авторстве Горчакова – пишет тому же самому Вяземскому, которому он из Одессы той же самой «Гавриилиадой» радостно похвалялся – очевидно, письмо предназначалось и для чтения цензором. Но так, или иначе, а защитные порядки Пушкина трещали в те дни и недели по всем швам – это был системный кризис его образа жизни и его мировоззрения.

Что же делал поэт? Не будем уже слишком акцентировать внимание на том, что он банально лгал комиссии по расследованию его дела, хотя ложь никогда никого не красила и к великому успеху никого не привела. Он вовсю играл в карты и напропалую крутил историю с Закревской, об отношениях с которой мы находим у самого же Пушкина в письме тех дней, адресованном Хитрово: «...я больше всего на свете боюсь порядочных женщин и возвышенных чувств. Да здравствуют гризетки! С ними гораздо проще и удобнее. Я не прихожу к вам потому, что очень занят, могу выходить из дому лишь поздно вечером и мне надо повидать тысячу людей, которых я все же не вижу.

Хотите, я буду совершенно откровенен? Может быть, я изящен и благовоспитан в моих писаниях, но сердце мое совершенно вульгарно, и склонности у меня вполне мещанские. Я по горло сыт интригами, чувствами, перепиской и т. д. и т. д. Я имею несчастье состоять в связи с остроумной, болезненной и страстной особой, которая доводит меня до бешенства, хоть я и люблю ее всем сердцем. Всего этого слишком достаточно для моих забот, а главное – для моего темперамента.

Вы не будете на меня сердиться за откровенность? не правда ли? Простите же мне слова, лишенные смысла, а главное – не имеющие к вам никакого отношения».

Мы видим с Вами из этого письма, что отношения с Закревской несомненно были важны для Пушкина в плане физической близости, но эмоциональный подтекст этих отношений начал напрягать поэта. Возможно, именно по этой причине у него в эти дни случилась очередная дуэльная история с секретарём французского посольства Лагрэнэ, которого поэт заподозрил в неэтичном поведении по отношению к себе. Пушкин немедленно послал Лагрэнэ вызов, но благодаря усилиям Н.В. Путяты и вежливости и уступчивости самого Лагрэнэ дело было легко улажено.

К сожалению, никакой Путяты и даже Вяземский не могли повлиять на тягу поэта к карточному столу. Мы не зря упоминаем Вяземского, который 18 сентября написал Пушкину такое письмо: «В Костроме узнал я, что ты проигрываешь деньги Каратыгину. Дело нехорошее. По скверной погоде я надеялся, что ты уже бросил карты и принялся за стихи». Ох, если бы Пушкин проигрывал только Каратыгину!

Вообще в картах он был неудачлив – не то чтобы совсем неудачлив, а в немалой степени неудачлив. Если человек постоянно играет к в карты, то он рано или поздно начинает подпадать под законы статистики, которая твёрдо говорит о том, что число выигрышей и число проигрышей в среднем при среднем уровне мастерства игрока должно быть примерно одинаково-

вым. Пушкин был не глуп, наблюдателен, много играл, и мастерство у него было достаточным – то есть, тут вопроса не было. Почему же он проигрывал больше, чем выигрывал? Во-первых потому, что играл честно, ради того, чтобы испытать судьбу, а в карты честно играли далеко не все. А во-вторых... Во-вторых, представьте себе на минуту что Вы – Господь Бог, и всем раздаёте всё, в том числе – и карточные выигрыши. Много ли выигрышей Вы отдадите поэту, который должен писать прекрасные и мудрые произведения, но который вместо этого тратит своё драгоценное время и нервную энергию на рассматривание червовых королей и трефовых шестёрок? Не поставите ли Вы его перед необходимостью осмыслить свою жизнь, и не легче ли всего Вам это будет сделать с помощью хорошей серии проигрышей? Так неужели Вы думаете, что Господь Бог глупее Вас? Вот Пушкин и проигрывал... «А как же статистика?» – спросите Вы. Да, статистика была, и Пушкин видел, что

выигрывает не так уж редко, и потому и не отказывался от игры, а вот того, что выигрывал он мало, а проигрывал много в смысле денежных сумм – этого великий поэт видеть в упор не хотел.

В те дни он проиграл за один вечер известному игроку Огонь-Догановскому двадцать пять тысяч рублей. Сумма для самого поэта и для многих людей, его окружавших, была потрясающей. Достаточно сказать, что за эти деньги в то время можно было купить неплохое небольшое поместье – с крестьянами, естественно. Пушкин таких денег не имел, но карточные долги в его понятии, как и в понятии других, назовём их профессиональными, игроков были долгами чести, и поэт закономерно обязался со временем постепенно полностью выплатить весь катастрофически образовавшийся долг.

Что можно по поводу всего этого сказать? Несомненно, период с июня по конец сентября 1929 года – чрезвычайно важный и знаковый период в жизни Пушкина. В этот период на протяжении относительно короткого времени он был поставлен лицом у лицу с последствиями избранных им ранее жизненных стратегий. Находясь в серьёзном жизненном кризисе, поэт получил от судьбы и от Господа драгоценный шанс на перемену направления движения, что в дальнейшем могло бы помочь изменить ему течение всей жизни. К сожалению, поэт не услышал милостивого голоса, тайно звучавшего за громким хором свалившихся на него печалей, а наоборот, продолжил искать для себя утешения в ставших привычными забавах, не очень-то приличных и молодому человеку, и тем более – не приличных человеку, приближающемуся к зрелости.

Глава пятая.

Кто хочет видеть – тот увидит,

И больше нужного найдёт...

В Пушкине к началу октября уже горело желание писать, у него давно созрел план поэмы на украинскую тему, который он обдумывал ещё с прошлой зимы, а саму поэму он пробовал начать писать в апреле, но тогда дело не пошло. Теперь для писания было самое время, но для этого надо было выехать из Петербурга в деревню, там закрыться ото всех и сделать работу, обстоятельства же его тогдашнего бытия этому препятствовали. Нужно было что-то делать, и в конце концов, поэт решился на поступок...

Дело в том, что комиссия по делу писания «Гавриилиады» предоставила ответы Пушкина на её вопросы императору на высочайшее рассмотрение. Николай Павлович всё внимательно изучил и дал такой ответ: ««Г. Толстому призвать Пушкина к себе и сказать ему моим именем, что, зная лично Пушкина, я его слову верю. Но желаю, чтоб он помог правительству открыть, кто мог сочинить подобную мерзость и обидеть Пушкина, выпуская оную под его именем».

Давайте воздадим должное мудрости царя, который сумел облечь свою недоверчивость в столь благопристойную форму!

В начале октября Пушкин повторно был вызван в комиссию, где его ознакомили с императорской волей. Напомню, что свои ответы поэт давал в середине августа, а к императору дело ушло в конце августа, ответ же от него был получен в конце сентября. Столь долгое движение бумаг объяснялось тем, что государь находился в действующей армии на турецком фронте и быстрые решения мелких для него дел в этом случае были невозможны.

Протокол заседания комиссии, на котором Пушкину предложили ответить на вопрос государя рассказывает об этом событии так: «Главнокомандующий в С.-Петербурге и Кронштадте, исполнив вышеупомянутую собственноручную его

величества отметку, требовал от Пушкина: чтоб он, видя такое к себе благоснисхождение его величества, не отговаривался от объяснения истины и что Пушкин, по довольном молчании и размышлении, спрашивал: позволено ли будет ему написать прямо государю-императору, и, получив на сие удовлетворительный ответ, тут же написал к его величеству письмо и, запечатав оное, вручил графу Толстому. Комиссия положила, не раскрывая письма сего, представить оное его величеству, донося и о том, что графом Толстым комиссии сообщено».

Итак, Пушкин решил признаться государю в авторстве «Гавриилиады», полагаюсь на милостивое к себе отношение. Очевидно, он испытал от этого величайшее облегчение, потому что возвратившись с заседания комиссии он немедленно, никуда не выезжая, принялся за писание поэмы. О том, как он тогда работал мы можем найти к М.В. Юзефовича: «Погода стояла отвратительная. Он уселся дома, писал целый день. Стихи ему грезились даже во сне, так что он ночью вскакивал с постели и записывал их впотымах. Когда голод его прохватывал, он бежал в ближайший трактир, стихи преследовали его и туда, он ел на скорую руку, что попало, и убегал домой, чтоб записать то, что набралось у него на бегу и за обедом. Таким образом слагались у него сотни стихов в сутки. Иногда мысли, не укладывавшиеся в стихи, записывались им прозой. Но затем следовала отделка, при которой из набросков не оставалось и четвертой части. Я видел у него черновые листы, до того измаранные, что на них нельзя было ничего

разобрать: над зачеркнутыми строками было по несколько рядов зачеркнутых же строк, так что на бумаге не оставалось уже ни одного чистого места».

За неполных три недели он завершил три песни поэмы и написал эпилог! Для того, чтобы оценить величину труда, нам достаточно сказать лишь, что по количеству строк из всех пушкинских поэм «Полтава» уступает только «Руслану и Людмиле» («Онегин», понятно, тут не в счёт).

13 октября в столицу с фронта возвратился император, в тот же день А.Н.Вульф делает в своём дневнике такую запись: «Был у Пушкина, который мне читал почти уже конченную свою поэму. Она будет под названием *Полтава*, потому что ни *Кочубеем*, ни *Мазеной* ее назвать нельзя по частным причинам».

16 октября поэт завершил работу над третьей главой поэмы. В тот же день комиссия по расследованию дела по «Гавриилиаде» получила от императора распоряжение о прекращении расследования, поскольку ему, императору, известен автор поэмы, и он считает дело решённым.

Пушкин испытал огромное облегчение, дописал эпилог, 19 октября, в день основания Лицея, встретился на традиционном собрании с однокашниками и наследующий день уехал в Малинники – тверское имение осиповской родни. Он выложил полностью. П.А. Плетнёву, который за месяц до того получил от него доверенность на ведение его издательских дел сам поэт о писании «Полтавы» сказал так: «Полтаву написал я в несколько дней; далее не мог бы ею заниматься и бросил бы все».

Мы намеренно не будем с Вами тут говорить о поэтических достоинствах пушкинской «Полтавы» – она гениальна как в изображении картин природы, как в изображении человеческих личностей, так и в сюжетном плане. В ней всё совершенно, и лучше не тратить время на обсуждение этой вещи, а ещё раз перечитать её и с наслаждением погрузиться в атмосферу пушкинского поэтического гения. Но рассматривая вместе с Вами историю написания «Полтавы», хочется обратить внимание вот на что: освобождение от спасительной, казалось бы, лжи моментально вызвало у поэта буквально взрыв творческой энергии. Жаль, что он этого чётко не отметил в своём сознании – вся

его дальнейшая жизнь при таком подходе могла бы сложиться иначе.

Пушкин приехал в Малинники и провёл там в общей сложности около полутора месяцев. За это время он закончил седьмую главу «Евгения Онегина» – работы там оставалось совсем немного, и на славу отдохнул. Пушкина окружали милые люди, любившие его и относившиеся к нему с почтением, его не тревожили, его угощали, чем Бог пошлёт и развлекали, как могли. Тут не было невзрачной Закревской, которая успела ему надоесть, не было компании азартных картёжников, тут во всём был мир и покой. Пушкин в письмах друзьям писал о том, что ему нравится деревенская жизнь и что он не спешит в столицы, но на самом деле его беспокойный характер через некоторое время начал давать себя знать. Писательская жатва закончилась, психологический потенциал восстановился и поэт понял, что готов не злоупотреблять гостеприимством тверских помещиков. В первые дни декабря он выехал из Малинников и 6 декабря уже был в Москве.

Традиционным для себя образом он поселился в гостинице, на этот раз – в Глинищевском переулке. Этот приезд Пушкина в первопрестольную разительно отличался от его предыдущего приезда – всё было тихо и скромно. Конечно, он появился во всех значимых московских кружках, везде был очень приязненно принят, хотя не обошлось и без мелких шероховатостей, которые произошли там и с теми, где люди ещё не знали характера нашего великого поэта. Вот что пишет С.П. Шевырёв: «Будучи откровенен с друзьями своими, не скрывая своих литературных трудов и планов, радушно сообщая о своих занятиях людям, интересующимся поэзией, Пушкин терпеть не мог, когда с ним говорили о стихах его и просили что-нибудь прочесть в большом свете. У княгини Зинаиды Волконской бывали литературные собрания понедель-

ничные; на одном из них пристали к Пушкину, чтобы прочесть. В досаде он прочел «Чернь» и, кончив, с сердцем сказал: «В другой раз не станут просить».

Но истории вроде этой, понятно, не составляли основы московской жизни Пушкина в те дни. Он, кстати, в нескольких местах прочитал в узких приятельских кругах отрывки из «Полтавы», прочитал и кое-что из написанных мелких стихотворений, по общему числу которых прошедший год выдался урожайнее предыдущего, но поэтические встречи и заседания не слишком занимали его в те дни. Пушкин был немного задумчив.

Пушкин не мог не заглянуть к Екатерине Ушаковой. Она повзрослела и ещё больше похорошела, у неё остался тот же острый ум и язычок. При встрече с поэтом во время разговора о столичной жизни Ушакова показала Пушкину свою осведомлённость насчёт его петербургских историй и легко посмеялась над тем, что он в итоге, по её выражению «остался с ОЛЕНЬИМИ рогами». Пушкин тоже довольно весело посмеялся над этим, но вслед за разговором об Олениной он узнал, что время не шло даром для Екатерины Ушаковой, и что у неё есть жених – князь Долгоруков. Пушкин погрузился, вскоре отклонился и удалился. Больше в тот приезд он у Ушаковых не появлялся.

Тогда же из Сибири до него дошёл стихотворный ответ А.И. Одоевского на его стихотворение «Во глубине сибирских руд». Начинался он такими строками:

Наш скорбный труд не пропадет.
Из искры возгорится пламя,
И просвещенный наш народ
Сберется под святое знамя...

Мы не знаем, какие чувства вызвали у Пушкина эти стихи, но похоже на то, что либеральные призывы к тому времени всё меньше и меньше трогали его душу. К тому же, он побывал на балу у Иогеля...

Иогель был знаменитым московским танцмейстером, к которому вся просвещённая Москва стремилась отдать своих детей в ученики и в ученицы. Если вы помните, в учениках у Иогеля в своё время в пору ранней юности успел побывать и сам Пушкин. Ежегодно в период рождественских праздников Иогель давал бал, на котором выводили в свет очередное поколение юных московских красавиц. Это в некоторой степени можно сравнить с теперешними конкурсами красоты, понятно, без того меркантильного содержания, которым эти теперешние конкурсы наполнены. Балы у Иогеля скорее можно было бы назвать балами будущих невест. На этих балах не каждый год зажигались яркие звёзды, но почти все московские звёзды впервые сверкнули на балу Иогеля, и балы эти были всегда исключительно интересны, и всегда становились событием для Москвы. Понятно, что находясь в эту пору в Москве Пушкин не мог не посетить это традиционное торжество.

Самым ярким событием бала стало появление на нём шестнадцатилетней Натальи Гончаровой. Она была в белом воздушном платье с золотым обручем на голове, но дело было совершенно не платье, и не в обруче – рискнём сказать, что платье могло быть любым, и обруч мог быть другим либо его вообще могло не быть – дело было в явлении её царственной классической красоты, которой все приглашённые на бал были просто поражены. Поражён этой красотой был и Пушкин. Он был представлен юной красавице, которой он сказал какие-то приличные случаю слова, она что-то ему ответила, и скорее всего – не запомнила ни его, ни того, что она сказала, поскольку в тот день королевой бала была она и все без исключения стремились сказать ей что-либо приятное, а вот Пушкин и после праздника был до глубины души потрясён красотой и очарован скромностью, непосредственностью и стыдливостью удивительной девушки.

К тому времени поэт начал хорошо понимать, что ему пора жениться – его положение в свете всё больше подталкивало к этому решению. И действительно: ну сколько можно было ещё веселиться в компании незрелых юнцов? А как было представляться в серьёзном обществе,

не имея при этом никакого твёрдого положения? Поэт чувствовал необходимость подведения оснований под своё дальнейшее существование, и внимательно осматривался вокруг в поисках будущей спутницы жизни. Встреча с Гончаровой поразила его, он замечтался, и вдруг увидел себя возможным соискателем её восхитительной руки и сердца.

Трудно судить о том, что было в уме и на душе у Пушкина в те дни, но вот что мы находим в письме Вяземского А.И. Тургеневу, написанном 9 января 1829 года: «Он что-то во все время был не совсем по себе. Не умею объяснить, ни угадать, что с ним было, *mais il n'était pas en verve (но он не был в ударе – прим. авт.)*. Постояннейшие его посещения были у Корсаковых и у цыганок; и в том и в другом месте видел я его редко, но видал с теми и другими и все не узнавал прежнего Пушкина».

Пушкин по какой-то причине, может быть, не вполне понятной ему самому, расхотел быть в Москве и откликнулся на приглашение А.Н. Вульфа отправиться в гости к его родственникам в Старицу, что в Тверской губернии и седьмого января они исполнили своё намерение – покинули Москву, уже через сутки оказавшись в Старице. Там они нашли самый горячий провинциальный приём во многом сродни тому, который был оказан поэту два месяца назад в Малинниках.

В Старице Пушкин отдыхал, веселился и наблюдал за амурными побуждениями своего сексуального ученика Алексея Вульфа. Понятно, Вульф не имел поэтических талантов Пушкина и его замечательной манеры вести беседу в небольшом обществе – он вообще почти не имел никаких талантов, кроме того,

который он развил под руководством Пушкина – таланта липнуть к женщине, если она вдруг дала ему минимальную надежду на сексуальный контакт. Вообще-то, для непредвзятого человека история такого прилипания представляет из себя довольно мерзкое зрелище, и надо отдать должное Пушкину, он с удовольствием пронаблюдал там за одним небольшим фиаско Вульфа, в которое его повергла одна из двух симпатичных старицких девушек.

Обоим этим девушкам поэт тоже оказывал знаки внимания, но это была всё-таки просто игра, а вот была в Старице ещё одна девушка, которая смотрела на Пушкина пристально. Её звали Евпраксия Николаевна Вульф, она тогда же гостила в Старице вместе с матерью, Прасковьей Осиповой. Евпраксии Николаевне в ту пору исполнилось девятнадцать и она была далеко не равнодушна к Пушкину, и была умна, и была достаточно красива, но Пушкин просто не захотел этого в тот раз заметить, или – сделал вид, что не захотел (как, впрочем, и два месяца тому назад в Малинниках). Прасковья Осипова и Евпраксия обиделись на это, но тоже не показали вида...

При всём замечательном гостеприимстве старицких помещиков, долгим пребывание у них для Пушкина не стало. 16 января он отправился из Старицы в Петербург – ему захотелось снова окунуться в столичную жизнь, и он окунулся в неё, активно оживляя многие прежние привычки. Вот отрывок из его тогдашнего письма Вяземскому: «Я в Петербурге с неделю, не больше. Нашел здесь все общество в волнении удивительном. Веселятся до упаду и в стойку, т.е. раутах, которые входят здесь в большую моду. Давно бы нам догадаться: мы сотворены для раутов, ибо в них не нужно ни ума, ни веселости, ни общего разговора, ни политики, ни литературы. Ходишь по йогам, как по ковру, извиняешься, – вот уж и замена разговору. С моей стороны, я от раутов в восхищении и отдыхаю от проклятых обедов Зинаиды (кн. З. А. Волконской – прим. авт.)».

К величайшему сожалению, возобновил он и карточную игру – катастрофический проигрыш огромных денег Огонь-Догановскому не стал для поэта критическим уроком. Когда мы говорим о карточной игре и о жизни Пушкина, мы обычно разделяем эти понятия. Но можно ли разделить жизнь наркомана вообще и употребление им наркотиков? Можно ли разделить жизнь алкоголика вообще и употребление им алкоголя? Не влияет ли алкоголь на само мировосприятие и на поступки человека? Не влияет ли наркотик на само мировосприятие и на

поступки человека? Поступки человека – не жизнь ли его? Нам говорят иногда, что страдания наркомана или страдания алкоголика могут быть интересно описаны, что у них свой взгляд на мир, и этот взгляд может быть нестандартным и очень интересным. Пусть так. Но наркоман, бросивший наркотики из внутренних побуждений не интереснее ли наркомана, не бросившего наркотики? Кто знает о страсти всё – тот, кто подвержен ей, или тот, кто был подвержен ей, но сумел подняться над этой страстью, и зная, какова она изнутри, сумел посмотреть на неё и снаружи? И если два таких человека напишут по книге с историей своей страсти, то какая из них будет интереснее для человека, желающего понять человечество, первая, или вторая?

Почти как раз в это время в Петербурге появился Николай Васильевич Гоголь – никому не известный молодой человек, желающий написать хорошие книги, и для которого Пушкин был образцом русского писателя. Гоголь мечтал увидеть Пушкина и хоть как-то приблизиться к нему. Молодой человек раздобыл адрес поэта и отправился в определённое место. Дальше, по словам П.В. Анненкова, записанных им со слов самого Гоголя, было вот что: «Чем ближе подходил он к квартире Пушкина, тем более овладевала им робость и, наконец, у самых дверей квартиры развилась до того, что он убежал в кондитерскую и потребовал рюмку

ликера... Подкрепленный им, он снова возвратился на приступ, смело позвонил и на вопрос свой: «Дома ли хозяин?», услышал ответ слуги: «Почивают!» Было уже поздно на дворе. Гоголь с великим участием спросил: «Верно, всю ночь работал?» – «Как же, работал, – отвечал слуга. – В картишки играл». Гоголь признавался, что это был первый удар, нанесенный школьной идеализацией. Он иначе не представлял себе Пушкина до тех пор, как окруженного постоянно облаком вдохновения».

Светская столичная жизнь всегда привлекала к себе Пушкина, и он с удовольствием появлялся на различных вечерах и балах. На одном из них он познакомился с Александрой Осиповной Россет. Знакомство это намного переросло рамки обычных отношений, а состоялось оно, по свидетельству самой Россет, так; «К концу года Петербург проснулся; начали давать маленькие вечера. Первый танцевальный бал был у Элизы Хитровой. (*На балу у Ел. Мих. Хитрово.*) Элиза (*Хитрово*) гнусила, была в белом платье, очень декольте; ее пухленькие плечи вылезали из платья. Пушкин был на этом вечере и стоял в уголке за другими кавалерами. Мы все были в черных платьях. Я сказала Стефани (*фрейлина княжна Радзивил, подруга Россет по институту*): «Мне ужасно хочется танцевать с Пушкиным». – «Хорошо, я его выберу в мазурке», и точно, подошла к нему. Он бросил шляпу и пошел за ней. Танцевать он не умел. Потом я его выбрала и спросила: «*Quelle fleur?*» – «*Celle de votre couleur*», – был ответ, от которого все были в восторге («*Какой цветок?*» – «*Вашего цвета*»). Элиза пошла в гостиную, грациозно легла на кушетку и позвала Пушкина».

На время знакомства Пушкина и Россет ей исполнилось двадцать лет, и она к той поре уже два года была фрейлиной императрицы. Вяземский писал о ней так: «В то время расцвела в Петербурге одна девица, и все мы, более или менее, были военнопленными красавицы. Кто-то из нас прозвал смуглую, южную, черноокою девицу *Donna Sol*, главною действующею личностью драмы В. Гюго «*Эрнани*». Жуковский прозвал ее *небесным дьяволенком*. Кто хвалил ее черные глаза, иногда улыбающиеся, иногда огнестрельные; кто стройное и маленькое ушко, кто любовался ее красивою и своеобразною миловидностью. Несмотря на светскость свою, она любила русскую поэзию и обладала тонким и верным поэтическим чутьем. Она угадывала (более того, она верно понимала) и все высокое, и все смешное. Обыкновенно женщины худо понимают плоскости и пошлости; она понимала их и радовалась им, разумеется, когда они были не плоско-плоски и не пошло-пошлы. Вообще увлекала она всех живостью своею, чуткостью впечатлений, остроумием, нередко поэтическим настроением. Прибавьте к этому, в противоположность не лишённую прелести, какую-то южную ленивость, усталость. < > Она была смесь противоречий, но эти противоречия были, как музыкальное разнозвучие, которые, под рукою художника, сливаются в странное, но увлекательное созвучие. – Сведения

ее были разнообразные, чтения поучительные и серьезные, впрочем, не в ущерб романам и газетам. Даже богословские вопросы, богословские прения были для нее заманчивы... Прямо от беседы с Григорием Назианзином или Иоанном Златоустом влетала она в свой салон и говорила о делах парижских с старым дипломатом, о петербургских сплетнях, не без некоторого оттенка дозволенного и всегда остроумного злословия, с приятельницей, или обменивалась с одним из своих поклонников загадочными полусловами...»

Эта женщина умела очаровывать, её скромная фрейлинская комната на одном из верхних этажей Зимнего дворца стала местом встреч многих замечательных русских людей того времени, а к её острому слову

прислушивались с интересом не только императрица и брат императора Михаил, но и сам государь Николай Павлович, с которым Россет умела держать себя по этикету почтительно, и в то же время независимо.

Пушкина при знакомстве с Россет, кроме всего прочего, поразил её отличный русский язык – при тогдашнем императорском дворе мало кто умел легко и красиво говорить по-русски. Поэт стал часто общаться с красавицей-фрейлиной. Безусловно, он поначалу думал добиться от Россет того же, чего хотели от неё добиться её многочисленные поклонники, но в отличие от них, Пушкин почти сразу догадался, что ему, как говорится, «не светит», и тут же сразу он увидел, что в лице Россет он получает удивительную собеседницу, некоего Пушкина в юбке, только не пишущего стихи. Это очень дорогого стоило!

Невинность – это было сказано не о Россет. С.Т. Аксаков пишет о ней: «Недоступная атмосфера целомудрия, скромности, это благоухание, окружающее прекрасную женщину, никогда ее не окружало, даже в цветущей молодости». Ему вторит И.С. Аксаков: «Я не верю никаким клеветам на ее счет, но от нее иногда веет атмосферой разврата, посреди которого она жила. Она показывала мне свой портфель, где лежат письма, начиная от государя до всех почти известностей включительно. Есть такие письма, писанные к ней чуть ли не тогда, когда она была еще фрейлиной, которые она даже посовестилась читать вслух... Столько мерзостей и непристойностей. Много рассказывала про всех своих знакомых, про Петербург, об их образе жизни, и толковала про их гнусный разврат и подлую жизнь таким равнодушным тоном привычки, не возмущаясь этим».

А вот что пишет о ней Яков Полонский, известный русский поэт: «она < > самым добродушным тоном говорила колкости, – она же умела говорить, – но так, что сердиться на нее никто не мог, даже и те немногие, которые очень хорошо понимали, в чей огород она бросает камешки < > Я не раз удивлялся ей, в особенности ее колоссальной памяти, – выучиться по-гречески ей ничего не стоило < > Из-под маски простоты и демократизма просвечивался аристократизм самого утонченного и вонючего свойства, под видом кротости скрывался нравственный деспотизм, не терпящий свободомыслия, разумеется, только в тех случаях, когда эта свобода не облечена в ту блистательную, поэтическую дерзость, которая приятно озадачивает светских женщин и о которой они сами любят всем рассказывать, как о чем-то оригинальном и приятном, великодушно прощать врагам своим».

Итак, перечисление достоинств Россет заняло у нас немало места, как и перечисление её недостатков, но были ли её недостатки недостатками в глазах Пушкина? Был ли Пушкин целомудрен? Не любил ли он говорить колкости? Не был ли ему свойствен тот самый утонченный аристократизм, облеченный в блистательную поэтическую дерзость, о которой с таким неприятием говорит полуразночинец Полонский? Россет легко могла говорить и выслушивать скабрёзности, но и Пушкин очень любил говорить и выслушивать разного рода скабрёзности, для многих в его окружении звучавшие муторно и пошлово... Россет, будучи по природе женщиной, прекрасно знала женскую натуру со всеми её слабостями, и, сама не погружаясь в грязную интимность, легко шутила на эту тему. Пушкин, как и огромное большинство муж-

чин, шутивший на эту же тему шутками определённого рода в мужском обществе вдруг получил возможность шутить о том же с женщиной! Это было интересно.

Сама Россет о начале знакомства с Пушкиным сказала так: ««Ни я не ценила Пушкина, ни он меня. Я смотрела на него слегка, он много говорил пустяков, мы жили в обществе ветереном. Я была глупа и не обращала на него особенного внимания». Но потом и она рассмотрела в Пушкине родственную во многих отношениях душу. Можно уверенно сказать, что они в определённой степени нашли друг друга.

Пушкин в то время наконец примирился со своим отцом Сергеем Львовичем, может быть, даже в большей степени по инициативе последнего. Сергей Львович был немало озадачен, и в конечном итоге удивлён славой и общественным признанием таланта своего старшего сына, хотя, по свидетельству многих, в общественных местах они нередко продолжали если не ссориться, то очень напряжённо разговаривать друг с другом.

У апостола Павла в посланиях есть место, где апостол увещевает детей быть послушными родителям, а родителей увещевает не раздражать детей без лишней к тому потребности. Отец и сын Пушкины были в этом смысле антитезой наставления Павла – Сергей Львович очень гордился сыном в его отсутствие, но не мог не попенять ему за что-нибудь в общей компании, а Пушкин-сын не мог сдержаться в ответ на эти пени, но – недаром говорят, что худой мир лучше доброй ссоры, и восстановление отношений, вне всякого сомнения, было очень позитивным знаком для всей пушкинской семьи.

Пушкин много читал, как всегда, никому этого не показывая, и очень серьёзно занимался английским языком – тоже никому этого не показывая. Он не хотел, чтобы кто-то вообще что-то знал о его занятиях английским, и поэтому занимался языком вообще без учителя. От этого страдало произношение – вернее говоря, в таких условиях оно не могло сформироваться вообще, но знание самого языка подвигалось у Пушкина достаточно быстро, и поставленная цель – в первую очередь – чтение Байрона и Шекспира в оригинале, а во вторую – чтение других английских авторов становилась вполне доступной.

Пушкин очень много времени проводил у Дельвига, и это касалось не только этого его приезда – во время всего своего предыдущего пребывания в столице он тоже любил гостить у дорогого лицейского друга, и дело не только в том, что Дельвиг был издателем альманаха «Северные цветы», активным участником которого был Пушкин, а в первую очередь – в атмосфере дельвиговской квартиры, в духе её хозяина. Дельвиг в те дни ещё не догадывался о неверности своей жены, которая изменяла ему с Вульфом, а потом – и не только с Вульфом, и был вполне счастлив, что накладывало светлый и тёплый тон на все его дела. Говоря современным языком, Дельвиг был толерантен к людям, и не поспешен в своих оценках. По словам Анны Керн «В этом молодом кружке преобладала любезность и раздольная, игривая веселость, блестящее неистощимое остроумие, высшим образцом которого был Пушкин. Но душою всей этой счастливой семьи поэтов был Дельвиг, у которого в доме чаще всего они собирались... Дельвиг шутил всегда остроумно, не оскорбляя никого. В этом отношении Пушкин резко от него отличался: у Пушкина часто проглядывало беспокойное расположение духа. < > Пушкин был так опрометчив и самонадеян, что, несмотря на всю его гениальность, он не всегда был разумен, а иногда даже не умен. Дельвиг же, могу утвердительно сказать, был всегда умен!»

К словам Анны Керн в этом случае очень даже можно прислушаться – она была подругой жены Дельвига и провела немало времени в дельвиговском доме. Кстати, после того, как Пушкин достиг своей цели с Анной Керн (и, скорее всего, некой своей цели добилась и она) Пушкин и Керн часто и с удовольствием встречались и у Дельвига, и в других местах, и хорошо друг у другу относились – мы об этом уже говорили. Подтверждением сказанного являются и благожелательные воспоминания Керн о Пушкине, в которых можно найти немало занятных, чисто женских характеристик, данных ею и великому поэту вообще, и его поступкам в частности.

Круг Дельвига, по сути своей, был кругом Пушкина, но поскольку формальным хозяином места встреч был, всё-таки, не Пушкин, то и в общении гостей дельвиговской квартиры царило некое сибаритство, мягкость. Пушкинские колкости тонули в дельвиговской неагрессивности, в мягкости его подач. Дельвиг умел соединить в русле одной беседы таких разных людей, как бывшие лицеисты Яковлев, Илличевский, Комовский, известные литераторы Подолинский и Щастный, умел ободрить литературную молодёжь и заинтересовать гениального Мицкевича, который тоже регулярно появлялся на дельвиговских вечерах и охотно вёл диалоги с Пушкиным, нередко – с глазу на глаз.

Об этих беседах двух гениев можно найти немало свидетельств у разных авторов, в частности, тот же А.И.Подолинский пишет: «На этих же вечерах Дельвига мне неоднократно случалось слышать продолжительные и упорные прения Пушкина с Мицкевичем то на русском, то на французском языке. Первый говорил с жаром, часто остроумно, но с запинками, второй тихо, плавно и всегда очень логично».

Остаётся только лишь пожалеть о том, что содержание бесед двух гениев для нас осталось навсегда тайной, и только косвенно по нескольким фразам Мицкевича, написанным им уже после гибели Пушкина, мы можем что-то предположить о содержании их, вне всякого сомнения, высоких разговоров. Вот они, эти слова Мицкевича: «Пушкин увлекал, изумлял слушателей живостью, тонкостью и ясностью ума своего, был одарен необыкновенною памятью, суждением верным, вкусом утонченным и превосходным. Когда говорил он о политике внешней и отечественной, можно было думать, что слушаешь человека, заматеревшего в государственных делах и пропитанного ежедневным чтением парламентарных прений. Я довольно близко и довольно долго знал русского поэта; находил я в нем характер слишком впечатлительный, а иногда легкомысленный, но всегда искренний, благородный и способный к сердечным излияниям. Погрешности его казались плодами обстоятельств, среди которых он жил: все, что было в нем хорошего, вытекало из сердца. В этой эпохе он прошел только часть того поприща, на которое был призван, ему было тридцать лет. Те, которые знали его в это время, замечали в нем значительную перемену. Вместо того, чтобы с жадностью пожирать романы и заграничные журналы, которые некогда занимали его исключительно, он ныне более любил вслушиваться в рассказы народных былин и песней и углубляться в изучение отечественной истории. Казалось, он окончательно покидал чуждые области и пускал корни в родную почву. Одновременно разговор его, в котором часто прорывались задатки будущих творений его, становился обдуманнее и степеннее. Он любил обращать рассуждения на высокие вопросы религиозные и общественные, о существовании коих соотечественники его, казалось, и понятия не имели. Очевидно, поддавался он внутреннему преобразованию».

Читая эти слова невольно проникаешься радостью от того, что видимо не зря именно ты любишь нашего великого поэта, если и такой гениальный человек, как Мицкевич, в немалой степени чуждый русской культуре по причине глубокой укоренённости в культуру иную, рассмотрел в нём столь великие дарования!

Пушкин в столице искал для себя самые разные формы развлечений, и находил их – он старался не пропускать концерты классической музыки, бывал в театре на множестве представлений, посещал салоны у Карамзиной и конечно же – у влюблённой в него до беспамяත්ства Елизаветы Хитрово. Хитрово изводила его душещипательными нежными посланиями, но он не мог у неё не бывать, не мог на эти послания как-либо не отвечать, и в то же время всячески стремился уклоняться от общения с нею. Это были с одной стороны очень странные, а с другой стороны – очень понятные отношения: Пушкин ничем не хотел оскорбить или оттолкнуть от себя безгранично преданную ему всей душой действительно добрую и искреннюю женщину, но эта женщина страстно мечтала принадлежать ему и своим горячим, но довольно пожилым телом, а тут в поэте уже противилась обычная возрастная физиология. В разговорах и в переписке с Хитрово Пушкин иногда просто отшучивался, а иногда начинал рассказывать ей о

том, какой он циничный и простой человек в отношениях с женщинами, опять приводя ей уже известные нам с Вами аргументы.

Кроме поездок на концерты и в салоны у поэта была частая игра в карты, о которой мы уже говорили, а были ещё и поездки с другом Вяземским и некоторыми другими друзьями в публичные дома, где поэт умел и удовлетвориться, а иногда и просто повеселиться, заплатив деньги, и начиная после этого под смех приятелей вдруг объяснять девицам важность правильного образа жизни... Но эти, и другие развлечения, в конце концов прискучили Пушкину, и он стал задумываться о поездке куда-нибудь, лучше всего – за границу.

В то же самое время Пушкин понимал, что в Париж или Берлин его не выпустят, и решил попроситься у Бенкендорфа позволить ему поездку на Кавказ, в Тифлис. Немного неожиданно для поэта разрешение им было получено почти сразу – дело в том, что Тифлис к тому времени уже более двадцати пяти лет находился под флагом Российской империи, там была устоявшаяся система управления, и просьба Пушкина была фактически просьбой на поездку в пределах государства. Формальной причины для отказа в поездке у Бенкендорфа не было, и он эту поездку Пушкину легко разрешил.

4 марта Пушкин получил подорожную в Тифлис, и 10 марта выехал из Петербурга в Москву. Почему в Москву? А мог ли он по дороге в Тифлис не оказаться в Москве, куда теперь звало его сердце? В Москве была Екатерина Ушакова, красивая и умная девушка, которая его всем сердцем любила, и в Москве же была Наталья Гончарова – девушка с абсолютно выдающейся внешностью, и взглядом ангела, недостижимый и, может быть, именно потому такой желанный идеал!

Пушкин в Москве традиционно для себя поселился в двухкомнатном гостиничном номере и почти сразу после приезда нанёс визит Ушаковым. Его там не ожидали, но доброжелательно приняли. Пушкин изъявил желание поговорить с отцом Ушаковой с глазу на глаз. Разговор получился очень долгим, почти сразу после него поэт уехал, а вся ушаковская семья на несколько дней погрузилась в глубочайшее раздумье. В итоге старший Ушаков пригласил домой официального на тот момент жениха Екатерины, молодого князя Долгорукова, и имел с ним тайную продолжительную беседу. В результате беседы помолвка была расторгнута и Екатерина Ушакова снова обрела полную свободу выбора. Что в точности стало причиной расторжения помолвки, нам до сих пор не известно, но, судя по всему, Пушкин представил отцу Ушаковой неопровержимые доказательства, как бы теперь сказали, нетрадиционной ориентации соискателя руки Екатерины, что было для Ушаковых, да и для кого угодно в те времена критически неприемлемым. Сила доказательств была такова, что опровергать их Долгоруков или не решился, или не смог, но так или иначе, Пушкин в этом деле добился своего – отношения с Ушаковой для него были очень важны, это была драгоценная синица в его брачной руке, которую он ни за что не хотел упустить.

Но кроме синицы в руках теперь рядом была и юная Натали Гончарова, восхитительный журавль в небе, за право лететь рядом с которым Пушкин

серьёзно решил побороться! Он узнал о самой Натали и о её семье всё, что только можно было узнать. Гончаровы жили недалеко от Большой Никитской в небольшом деревянном одноэтажном доме, выходившем несколькими окнами на улицу. Отец Натали Николаевны, Николай Афанасьевич, был сыном дворянина Афанасия Николаевича Гончарова, выходца из богатой купеческой семьи, получившей потомственное дворянство от Екатерины Второй. Отец Николая Ивановича был очень богат, владел несколькими большими поместьями в Московской и Калужской губерниях. Николай Иванович получил блестящее образование, и сначала служил в столице в Коллегии иностранных дел, а затем в Москве был секретарём московского губернатора.

В Петербурге он познакомился с Натальей Загряжской, девушкой редкостной красоты, влюбился в неё и женился на ней. Наталья Ивановна была старше Николая Ивановича на два

года и приходилась праправнучкой украинскому гетману Петра Дорошенко от его последнего брака. Отец Натальи Ивановны, генерал Иван Александрович Загряжский, был женат и имел пятерых детей, и, как-то, находясь по делам службы в Дерпте, увлёк и увёл за собой дочь жену одного из остзейских баронов по имени Ульрика. Баронесса последовала за возлюбленным, жила с ним в России. Загряжский долгое время не разводился с законной женой и фактически имел две семьи. В этом втором сожителстве и родилась Наталья Ивановна. Баронесса прожила в России шесть лет и умерла, а Наталью Ивановну как родную дочь воспитала жена Загряжского Александра Степановна. Тётка Натальи Ивановны, Наталья Кирилловна Загряжская, была влиятельной фрейлиной Екатерины Второй, и потому три дочери генерала Загряжского, Наталья, Екатерина и Александра, тоже стали фрейлинами императрицы.

Красота Натальи Ивановны была многими замечена при дворе, в том числе – и фаворитом императрицы Охотниковым, который влюбился в Загряжскую. Она ответила ему взаимностью, но брак между ними был невозможен, а вот брак между Загряжской и страстно влюблённым в неё Николаем Гончаровым оказался ещё как возможен и очень нужен для успешного сокрытия определённых обстоятельств. Свадьба, по словам свидетелей этого события, была очень пышной и на ней присутствовала вся императорская фамилия.

Вскоре после свадьбы молодые переехали в Москву, а ещё через некоторое время родители Николая Ивановича развелись, и молодые Гончаровы перебрались в семейное калужское имение Полотняный Завод, где Николай Иванович был вынужден взять на себя управление тамошними фабриками отца, постепенно приходившими в упадок. Его труды имели успех и за свою хозяйственную деятельность он в 1811 году даже был награждён орденом Святого Владимира четвёртой степени «за приведение к должному устройству и усовершенствованию состоящие в Калужской губернии фабрики полотняной и писчей бумаги». С началом войны 1812 года его отец Афанасий Николаевич вернулся домой и стал постепенно перебирать управление фабриками в свои руки, а в 1815 году совершенно отстранил сына от дел.

Старший Гончаров привёз с собой из Франции любовницу-француженку и жил, совершенно не считаясь с потребностями растущей семьи сына, у которого в общей сложности родилось семеро детей, из которых одна дочь умерла во младенчестве. Афанасий Николаевич жил так, как будто на его существовании мир закончится. Николай Иванович переносил своё отстранение от дел очень тяжело и в конечном итоге эти переживания для него закончились тяжёлым нервным расстройством. По официальной версии происхождение его

заболевания объяснялось падением с коня, но по другой, гораздо более вероятной версии, причиной болезни было последствие неумеренного употребления алкоголя.

Так или иначе, но Николай Иванович ещё смолоду был не здоров, и кто-то должен был взять на себя всю тяжесть семейного креста – она пала на Наталью Ивановну в её не полные тридцать лет. Свёкор, не сильно любивший невестку, выделял ей в год по сорок тысяч рублей, которых едва хватало на поддержание семейного московского городского дворянского быта. На первый взгляд, сорок тысяч были деньги не малые, но детей надо было учить, а на их учёбу Наталья Ивановна денег не жалела, девочек надо было готовить к выходу в свет, а это тоже требовало немалых расходов. Для того, чтобы в такой ситуации концы хоть как-то сходились с концами, в семье должны были царить строгость и порядок, и они царили в ней. Источниками этой строгости и порядка, понятно, была Наталья Ивановна – роль для женщины очень сложная и малопривлекательная.

Утешение и опору Наталья Ивановна находила в религии – она регулярно посещала церковные службы, соблюдала посты, приглашала священников домой – скорее всего, она действительно верила в Бога, с помощью веры надеялась преодолеть житейские трудности и составить своим детям счастье. Дети по этой причине с раннего возраста тоже были принуждены очень строго соблюдать обрядовую церковную сторону жизни, но чрезмерная строгость матери в этом вопросе, похоже, не позволила младшим Гончаровым стать горячими поклонниками

православной веры, хотя в том, что касается воспитанности и благочестия, все дети Натальи Ивановны могли дать немалую фору большинству своих московских сверстников.

Наталья Николаевна была пятым ребёнком в семье Гончаровых и любимой внучкой деда Афанасия. По этой причине немалую часть своего детства она провела у деда в имении. Мы уже говорили о том, что все Гончаровы получили хорошее образование, девочки при этом учились дома, им преподавалась русская и мировая история, география, русский язык и литература, само собой – французский язык, на котором Наталья Николаевна, по её словам, писала лучше, чем по-русски.

Дар красоты, ниспосланный Наталье Николаевне свыше, отмечали все окружающие ещё с её детства. Надежда Еропкина, двоюродная сестра друга Пушкина Павла Нащокина так писала о Гончаровой: «Натали еще девочкой-подростком отличалась редкой красотой. Вывозить ее стали очень рано, и она всегда окружена была роем поклонников и воздыхателей. Участвовала она и в прелестных живых картинах, поставленных у генерал-губернатора кн. Голицына, и вызывала всеобщее восхищение. Место первой красавицы Москвы осталось за нею.

Необыкновенно выразительные глаза, очаровательная улыбка и притягивающая простота в обращении, помимо ее воли, покоряли ей всех. Не ее вина, что всё в ней было так удивительно хорошо. Но для меня остается загадкой, откуда обрела Наталья Николаевна такт и умение держать себя? Все в ней самой и манере держать себя было проникнуто глубокой порядочностью. Все было „comme il faut“ – без всякой фальши. И это тем более удивительно, что того же нельзя было сказать о её родственниках. Сестры были красивы, но изысканного изящества Наташи напрасно было бы искать в них. Отец слабохарактерный, а под конец и не в своем уме, никакого значения в семье не имел. Мать далеко не отличалась хорошим тоном и была частенько пренеприятна... Поэтому Наталья Гончарова явилась в этой семье удивительным самородком. Пушкина пленила ее

необычайная красота и прелестная манера держать себя, которую он так ценил».

Пушкину очень важно было начать появляться в доме у Гончаровых, но как это было сделать? На первый взгляд, задача была из не сложных: в удобный момент просто представиться Наталье Ивановне, скромно заявить о своих намерениях и попроситься являться в дом в качестве претендента на руку юной красавицы – так делали все, но в этом случае ситуация выглядела немного иначе. Пушкину было тридцать лет, а Наталье Николаевне – шестнадцать, разница по тем временам не пугающая, но и не рядовая. У Пушкина не было никакой собственности, он не был беден, но и не был богат, источник его доходов по тем временам не представлялся чем-то основательным, у Пушкина было имя, у него была великая слава, но кроме славы поэта у него ещё, к сожалению для него, была и другая слава – слава неумеренного искателя приключений, свободного в отношениях с женщинами человека, политически не вполне благонадёжного, и в некотором плане беспутного. Пушкину приписывалась куча историй, в которых он действительно участвовал, и другая куча других историй, к которым он в действительности не имел никакого отношения.

Пушкин, совершенно не сомневаясь в том, что матери Гончаровой из самых разных уст известно очень о нём очень многое, не рискнул лично обратиться к Наталье Ивановне за разрешением, как тогда говорили, «ездить к ним». Эту обязанность поэт решил возложить на своих друзей, так или иначе знакомых с Натальей Ивановной для того, чтобы они в разговорах с ней постарались сформировать в её глазах положительный образ поэта, добиться этим её определённой благосклонности и вслед за этим – разрешения на регулярное посещение дома Гончаровых.

Дело постепенно пошло, колёсики завертелись, но – скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Кипучая натура Пушкина не позволяла ему сидеть в гостинице, читать книги и ожидать времени, когда ему будет позволено оказаться в гончаровском доме. Не зная о том, чем дело кончится у Гончаровых, поэт снова начал ездить к Ушаковым. Его дорога в дом Ушаковых

лежала мимо окон гончаровского дома, и Пушкин говорил избранным друзьям, что он ездит к Ушаковой для того, чтобы дважды в день проехать мимо окон Гончаровой. Само собой, он не говорил этого Екатерине Николаевне.

В общении поэта с обоими сёстрами всё, вроде бы, пошло по прежнему – в разговорах царили смех, шутки, веселье. Обе сестры частенько поминали Пушкину историю с Олениной, знали они и об увлечении Пушкина Натальей Гончаровой, и это увлечение тоже было частью их общих шуток. Альбомы обеих сестёр заполнялись карикатурами, рисунками, стихами, разного рода комментариями – всё протекало вроде бы беззаботно, хотя Пушкин при этом не мог не понимать того, что Екатерина Ушакова страстно в него влюблена и тайно от этого очень страдает.

Поэт обратился к обычным для него в таких случаях занятиям – нервное напряжение он сбрасывал, играя в карты – известный в нейрофизиологии способ, когда от одного раздражения уходят, переключаясь на другое раздражение, правда, любой нейрофизиолог, сказав Вам об этом, сразу добавит, что это – весьма затратный метод компенсации, силы человеческие не беспредельны, и имеют свойство кончаться раньше ожидаемого предела. Короче говоря, лучше всего в этой ситуации было бы задуматься и осмотреться, но Пушкин был таким, каким он был, и он играл в карты.

В отчёте московской полиции за 1829 год, следившей за всеми неблагополучными категориями граждан, в том числе – и за картёжными игроками, есть список этих игроков. Он включает в себя 93 человека, в том числе:

«1. Граф Федор Толстой – тонкий игрок и планист. – 22. Нащокин (один из лучших друзей Пушкина – прим. авт.) – отставной гвардии офицер. Игрок и буян. Всеизвестный по делам, об нем производившимся. < > 36. Пушкин – известный в Москве банкومت».

Полицейские офицеры – не чувствительные дамы, стихов они обычно не читают и в своих отчётах отражают сугубые реалии. Реалия этого отчёта грустна для нас, почитателей гениального поэта.

Пушкин немало времени проводил и там, где он просто обязан был это время проводить – в кругу московских литераторов, к которым в начале апреля ненадолго снова присоединился Адам Мицкевич. Литераторы встречались друг у друга на квартирах, собирались в домах у ценителей искусства и в разных общественных местах. Пушкин и Мицкевич провели между собой немало драгоценных минут, иногда свидетелями их разговоров становились сторонние наблюдатели, которым не дано было понять подоплёки бесед двух гениев. Вот, например, впечатление М.П. Погодина от одного из разговоров между двумя великанами: «Нечего было сказать о разговоре Пушкина и Мицкевича, кроме: предрассудок холоден, а вера горяча». Понятно, что предрассудок Погодин приписывает Мицкевичу, а веру – Пушкину, но где драгоценные детали разговора, в которых и кроется всё? Они ускользнули от Погодина, ну – и от нас.

О чём говорили московские писатели? Вот Вам тогдашнее свидетельство Погодина: «Завтрак у меня, представители русской общественности и просвещения: Пушкин, Мицкевич, Хомяков, Щепкин, Венелин, Аксаков, Верстовский, Веневитинов. – Разговор от *(неразборчиво)* до евангелия, без всякой последовательности, как и обыкновенно». Или ещё у него же: «У меня обедали: Пушкин, Мицкевич, Аксаков, Верстовский etc. Разговор был занимателен от... до евангелия. Но много было сального, которое не понравилось».

То есть, разговоры велись непринуждённо, на самые разные темы, велись так, как обычно ведутся многие застольные разговоры, но нас тут немного должно насторожить упоминание Погодина о «сальном», «которое не понравилось». К великому сожалению, источником многих этих сальностей был наш замечательный поэт – когда он писал Хитрово в ранее приведённом нами письме о своём цинизме, он не лгал, он констатировал реальность. «Пушкин – любитель непристойного» – говорила о нём Александра Смирнова-Россет, сама хорошо знавшая цену многим непристойностям и умевшая с удовольствием пошутить над ними, в том числе – и

вместе с Пушкиным (заметим, что Смирнова-Россет над непристойностями смеялась, но ими не занималась).

Если Пушкин мог себе позволить шутки нехорошего тона в присутствии великосветской дамы (хотя в этом плане Россет была у него исключением), то можно только представить себе, что он мог позволить себе в мужском свободном обществе, к которому он, видимо, причислял и общество московских литераторов. Вот что пишет С.Т. Аксаков: «С неделю тому назад затракал я с Пушкиным, Мицкевичем и другими у Мих. Петровича (*Погодина*). Первый держал себя ужасно гадко, отвратительно, второй – прекрасно. Посудите, каковы были разговоры, что *второй* два раза принужден был сказать: «Гг., порядочные люди и наедине, и сами с собою не говорят о таких вещах!»

Что можно сказать по этому поводу? Что Пушкин, при всём уважении к Мицкевичу, не считал важным переменить тему разговора на более чистую, но и Мицкевич не считал для себя возможным слушать непристойные вещи, которым оппонировать не хотел во избежание ссоры, но и соглашаться с которыми не мог.

Те встречи были последними в жизни двух великих мастеров – вскоре Мицкевич вернулся в Петербург и в мае 1829 года навсегда выехал из России за границу.

Друзья Пушкина в конце концов сделали своё дело – они сумели договориться с Натальей Ивановной и поэт начал ездить к Гончаровым. Посещения с самого начала не очень заладились – на первый взгляд, столь опытный в амурных делах человек, как Пушкин должен был бы легко найти правильный контакт и с девушкой, и с её сёстрами, и с её родителями. На деле всё вышло совершенно иначе. Весь предыдущий любовный опыт Пушкина строился на общении с женщинами и девушками, открытыми в сторону контакта с мужчинами, всё его выдающееся мастерство ловеласа строилось на искусстве обольщения, а обольщать можно только того, кто хочет обольститься. Здесь же перед Пушкиным был чистый человек, ещё почти ребёнок, абсолютно не испорченный и все ухищрения в этом случае были бесполезны.

Пушкин это сразу почувствовал и ему у Гончаровых было очень неловко – он восхищался юной Натальей, и не знал, о чём с ней ему говорить. Наталья была неплохо образована для её возраста, казалось бы, что с ней можно легко и много говорить о литературе, о стихах, но Наталья Ивановна очень строго контролировала круг чтения дочерей, и они дома не могли читать ни популярные иностранные романы подозрительного на взгляд Натальи Ивановны содержания, ни, тем более, стихотворения Пушкина. Кстати, старшая сестра Натальи, Александрина, очень любила стихотворения и поэмы Пушкина, и все их перечитала, но это было сделано тайком от матери, а послушная Наталья выполняла требования матери и запретный плод в руки не брала. В итоге так и вышло, что о великом поэте, который теперь мечтал стать её женихом, она с лучшей его стороны ничего не знала. Следовательно, Пушкин терял очень важный козырь в общении с девушкой – он и это чувствовал, и смущался от этого ещё больше.

Поэту приходилось вести длинные разговоры с Натальей Ивановной – Николай Афанасьевич давно утратил в семье всякое значение, и его мнение по любому вопросу никак не воспринималось – его вообще старались от участия в беседах с посетителями дома отстранить или оградить. Среди общих тем, возникавших в беседах поэта с Натальей Ивановной время от времени всплывала тема Петербурга и царского дворца, о жизни в атмосфере которого Наталья Ивановна сохранила самые трепетные воспоминания. Такие же трепетные воспоминания у неё остались о покойном императоре Александре Павловиче – Наталья Ивановна давала ему исключительно восторженные характеристики, и тут находила коса на камень! При упоминании об Александре Пушкин менялся и начинал раздражённо спорить и приводить аргументы о никчёмности характера Александра, о его бездеятельности, о слабости и злопамятности. Споры на эту тему возникали между Пушкиным и Натальей Ивановной с завидной регулярностью. Поэт понимал, что ему стоило бы сдерживаться, ради сохранения отношений и возможности дальше ездить к Гончаровым, но ничего с собой поделать не мог. Что думала

в эти минуты кроткая Наталья Николаевна – нам не известно, наверняка – грустила по поводу спора на малозначительную, с её точки зрения, тему. Кстати, по поводу других тем у Пушкина и старшей Натальи серьёзных противоречий не возникало, и это помогало в конечном итоге сглаживать острые углы.

Время между тем стремительно летело. Пушкину пора было выезжать на Кавказ, а внятного ответа на своё стремление стать женихом поэт от Натальи Ивановны не получил. Тогда он решился прибегнуть к довольно решительному средству: он обратился к Фёдору Толстому, да-да, тому самому «американцу», с которым он собирался стреляться на смерть, и с которым давно помирился, и с которым провёл не один раут за картёжным столом. Пушкин попросил через Толстого к Натальи Ивановны руки её дочери. Наталья Ивановна также через Толстого передала ответ Пушкину, в котором говорилось о том, что её дочь ещё очень юна, и что говорить в связи с этим о браке Натальи Николаевны с кем-либо преждевременно. В то же время, Пушкину в его стремлении не было отказано. Он немедленно написал Наталье Ивановне письмо, в котором говорилось: «На коленях, проливая слезы благодарности, должен был бы я писать вам теперь, после того как граф Толстой передал мне ваш ответ: этот ответ – не отказ, вы позволяете мне надеяться. Не обвиняйте меня в неблагодарности, если я все еще ропщу, если к чувству счастья примешиваются еще печаль и горечь; мне понятна осторожность и нежная заботливость матери! – Но извините нетерпение сердца больного, которому недоступно счастье. Я сейчас уезжаю и в глубине своей души увожу образ небесного существа, обязанного вам жизнью. – Если у вас есть для меня какие-либо приказания, благоволите обратиться к графу Толстому, он передаст их мне.

Удостойте, милостивая государыня, принять дань моего глубокого уважения». Письмо было написано и отправлено 1 мая 1829 года. В тот же день Пушкин выехал на Кавказ.

Глава шестая.

И в горы трудно подниматься,

И с гор спускаться нелегко...

Перед самым выездом из Москвы Пушкин получил известие о том, что в Петербурге была издана и появилась в продаже его последняя поэма «Полтава», и что там же в продаже появилась переизданная первая глава «Евгения Онегина». Это было добрым знаком – деньги нужны любому человеку, и всегда, Пушкину они были нужны тем более, а новые издания гарантировали получение дохода сразу по возвращении с Кавказа. Это значило, что поэт мог не беспокоиться по поводу своих грядущей жизни в столице, и что он так же мог себе позволить некоторые авансированные расходы во время путешествия.

По дороге на Кавказ в Орле он заехал в имение к знаменитому генералу Ермолову. Встреча двух великих людей была интересна для них обоих. Что Пушкин написал о Ермолове, можно прочитать в его «Путешествии в Арзрум», а вот слова Ермолова о Пушкине, взятые из его письма Денису Давыдову: «Был у меня Пушкин. Я в первый раз видел его и, как можешь себе вообразить, смотрел на него с живейшим любопытством. В первый раз не знакомятся коротко, но какая власть высокого таланта! Я нашел в себе чувство, кроме невольного уважения».

Поэт оказался достойным собеседником великого воина и они расстались через несколько часов после встречи с чувством глубокого взаимного уважения.

Пушкин продолжил своё путешествие. В две недели он доехал до Георгиевска, ещё через день был в Екатеринодаре, а 21 мая был уже во Владикавказе. На следующий день поэт в составе небольшого разношёрстного каравана под охраной казаков выехал из Владикавказа в Тифлис. Мы не будем здесь описывать детали путешествия, которые великолепно описаны самим Пушкиным в его книге, и всякий желающий узнать эти детали сможет с величайшим удовольствием для себя ещё раз перечитать «Путешествие в Арзрум». Мы поговорим тут о некоторых других интересных моментах этого путешествия.

Переход через горный хребет и движение по небезопасным дорогам благополучно завершилось в Тифлисе вечером 27 мая. В тот же день, кстати, в Петербурге вышла первая часть из четырёх частей «Стихотворений Александра Пушкина», общий гонорар за которые впоследствии составил 12 тысяч рублей.

Несколько дней Пушкин наслаждался покоем, не обращая особого внимания на повышенный интерес к его персоне со стороны местного общества. Он непринуждённо, едва ли не в одном халате ходил по армянскому базару в старой части города, покупал там фрукты и прямо на улице их ел. Там же на улице он общался с местными мальчишками, заговаривал со стариками. Многие в Тифлисе знали о том, что Пушкин – великий русский поэт и в понятии восточных людей не укладывалось, что великий человек может вести себя просто. Грузинский князь Е.О. Палавандов об этом написал так: «Пушкин в то время пробыл в Тифлисе, в общей сложности дней, всего лишь одну неделю, а заставил говорить о себе и покачивать многодумно головами не один год потом».

Пушкина в Тифлисе приглашали к себе в гости многие люди, в том числе был он зван и на официальный приём к генералу Стрекалову, от которого у поэта осталось крайне неприятное

впечатление, но там же, в Тифлисе в те же дни произошло одно событие, о котором лучше всего будет рассказать словами его организатора и непосредственного участника К.И. Савостьянова: «В бытность Пушкина в Тифлисе общество молодых людей, бывших на службе, было весьма образованное и обратило особенное внимание Пушкина, который встретил в среде их некоторых из своих лицейских товарищей. Всякий, кто только имел возможность, давал ему частный праздник или обед, или вечер, или завтрак, и, конечно, всякий жаждал беседы с ним. Наконец, все общество, соединившись в одну мысль, положило сделать в честь его общий праздник, устройство которого было возложено на меня. Из живописных окрестностей Тифлиса не трудно было выбрать клочок земли для приветствия русского поэта. Выбор мой пал на один из прекрасных загородных виноградных садов за рекою Кур. В нем я устроил праздник нашему дорогому гостю в европейско-восточном вкусе. Тут собрано было: разная музыка, песельники, танцовщики, баядерки, трубадуры всех азиатских народов, бывших тогда в Грузии. Весь сад был освещен разноцветными фонарями и восковыми свечами на листьях деревьев, а в середине сада возвышалось вензелевое имя виновника праздника. Более 30 единокоренных хозяев праздника заранее столпились у входа сада восторженно встретить своего дорогого гостя.

Едва показался Пушкин, как все бросились приветствовать его громким ура с выражением привета, как кто умел. Весь вечер пролетел незаметно в разговорах о разных предметах, рассказах, смешных анекдотах и пр. Одушевление всех было общее. Тут была и зурна, и тамаша, и лезгинка, и заунылая персидская песня, и Ахало, и Алаверды (грузинские песни), и Якшиол, и Байрон был на сцене, и все европейское, западное смешалось с восточноазиатским разнообразием в устах образованной молодежи, и скромный Пушкин наш приводил в восторг всех, забавлял, восхищал своими милыми рассказами и каламбурами. – Действительно, Пушкин в этот вечер был в апотеозе душевного веселия, как никогда и никто его не видел в таком счастливом расположении духа; он был не только говорлив, но даже красноречив, между тем как обыкновенно он бывал более молчалив и мрачен. Как оригинально Пушкин предавался этой смеси азиатских увеселений! Как часто он вскакивал с места, после перехода томной персидской песни в плясовую лезгинку, как это пестрое разнообразие европейского с восточным ему нравилось и как он от души предавался ребячьей веселости! Несколько раз повторялось, что общий серьезный разговор останавливался при какой-нибудь азиатской фарсе, и Пушкин, прерывая речь, бросался слушать или видеть какую-нибудь тамашу грузинскую или имеретинского импровизатора с волынкой. Вечер начинал уже сменяться утром. Небо начало уже румяниться, и все засуетилось приготовлением русского радушного хлеба-соли нашему незабвенному гостю. Мигом покрасовался ужинный стол, установленный серебряными вазами с цветами и фруктами и чашами, и все собрались в теснейший кружок еще поближе к Пушкину, чтобы послушаться побольше его речей и наглядеться на него. Все опять заговорило, завеселилось, запело. Когда торжественно провозглашен был тост Пушкина, снова застонало новое ура при искрах шампанского. Крики ура, все оркестры, музыка и пение, чокание бокалов и дружеские поцелуи смешались в воздухе. Когда европейский оркестр во время заздравного тоста Пушкина заиграл марш из *La dame blanche*, на русского Торквата надели венок из цветов и начали его поднимать на плечах своих при непрерывном ура, заглушавшем гром музыки. Потом посадили его на возвышение, украшенное цветами и растениями, и всякий из нас подходил к нему с заздравным бокалом и выражали ему, как кто умел, свои чувства, свою радость видеть его среди себя. На все эти приветствия Пушкин молчал до времени, и одни теплые слезы высказывали то глубокое приятное чувство, которым он тогда был проникнут. Наконец, когда умолкли несколько голоса восторженных, Пушкин в своей стройной благоуханной речи излил перед нами душу свою, благодаря всех нас за торжество, которым мы его почтили, заключивши словами: «Я не помню дня, в который бы я был веселее нынешнего; я вижу, как меня любят, понимают и ценят, – и как это делает меня счастливым!» Когда он перестал говорить, – от

избытка чувств бросился ко всем с самыми горячими объятиями и задушевно благодарил за эти незабвенные для него приветы. До самого утра пировали мы с Пушкиным».

Автор этой книги намеренно решил не сокращать описание праздника, данного тифлисской молодёжью в честь Пушкина. Наш гениальный поэт при жизни своей не получил должного к нему почтения, разве что, за исключением первых дней, проведённых им в Москве сразу после возвращения из ссылки, и вот этого тифлиского праздника. Скорее всего дело тут в том, что Пушкин был русским и жил среди русских. Русские люди не умеют правильно оценивать чужое величие – это умеют делать в Европе, и это очень хорошо умеют делать на Востоке, но Россия – не Европа, и не Восток.

Европеец чтит высокоталантливого собрата вежливостью и карманом, учась у него за деньги и покупая плоды его трудов – книги, технические и прочие продукты, что и создаёт европейскому таланту должную высоту положения.

На Востоке талант поднимается на вершины другими способами, но находящиеся на вершинах люди пользуются там всеми преимуществами общественного признания. Не то – в России, где с талантом всякий спешит выпить запанибрата, сказать ему «ты» и где обычно никто не спешит заплатить талантливому человеку за его достижения. Исключения из правила этого редки и не характерны. Всё вышесказанное в полной мере касается и Пушкина, который славу имел большую, а благородного почтения, которого он несомненно заслуживал, имел немного.

По рассказу самого Пушкина, в один из этих один из этих же дней он получил письмо от своего друга, Николая Николаевича Раевского-младшего, командовавшего на Кавказе Нижегородским драгунским полком и ставшего к тому времени генерал-майором. Раевскому на тот момент было двадцать семь лет и высокий воинский чин он получил за успешное командование полком во время боевых действий – напомним читателю, что в это время шла война с Турцией и активные боевые действия велись Россией как на Балканах, так и в Закавказье.

Николай Раевский писал Пушкину о том, что его полк находится в Карсе, и что

Пушкин при желании может к нему приехать. Для приезда необходимо было получить разрешение от командующего русской армией, любимца императора Николая генерала Паскевича. Раевский это разрешение у Паскевича сумел получить и Пушкин 10 июня выехал из Тифлиса в Карс.

Когда мы читаем эту историю в версии Пушкина, мы должны понимать скорость тогдашних почтовых сообщений, и тогда становится понятно, что никак Николай Раевский не мог бы связаться с Пушкиным и пригласить его к себе, если бы заранее между ним и Пушкиным не было договорённости об этой переписке. Каким образом Раевский узнал о поездке Пушкина на Кавказ, кто, и как и о чём кто кого просил – нам того никогда не узнать. Ясно только, что письмо Раевского Пушкину с предложением приехать в Карс – верхняя часть некой пирамиды, о которой история умалчивает, но о существовании которой непременно должны были догадаться те, кто осуществлял за Пушкиным секретный надзор, а надзор не снимался и на время поездки поэта в Тифлис и далее.

Раевский предупредил друга о том, что в Карсе его полк надолго не задержится. Поэт поторопился выехать в тот же день. В дороге его ждала короткая неожиданная встреча с телом поэта Грибоедова, служившего русским посланником в Тегеране и растерзанного там толпой во время антирусского бунта. Суеверный Пушкин был смущён таким неожиданным пересечением обстоятельств, тем более, что его ещё во время пребывания в Москве несколько человек спросили о том, не боится ли он повторить на Кавказе судьбу Грибоедова, к тому времени уже погибшего. Пушкин всем с улыбкой отвечал, что не боится. И вот настало время взглянуть судьбе в глаза. Пушкин взглянул и продолжил свой путь в сторону сражающейся армии.

В два дня он доехал до Карса, где в командирской палатке смог обнять своего давнего друга – Николая Раевского-младшего, и там же встретить ещё несколько своих давних знакомых, в том числе и брата своего лицейского друга Пушина – Михаила. В тот же день полк

выступил к новому месту назначения и вскоре произошла та самая, всем известная знаменитая история с участием Пушкина в бою с турками, во время которого наш великий поэт по одной версии – с пикой в руке, по другой – с саблей в той же руке отважно устремился на турок. Бдительные драгуны, к величайшему сожалению самого Пушкина, не дали перейти этому эпизоду в героическую фазу и своим появлением заставили турок ретироваться, но поэт, так или иначе, успел побывать в настоящем бою. Его смелость отметили все свидетели этого события, а сам Пушкин надеялся на то, что ему ещё не раз предстоит побывать в каком-нибудь новом сражении.

На деле всё вышло немного иначе. Это Пушкин хотел повоевать потому, что он никогда не воевал, а вдоволь навоевавшиеся драгуны хотели разговоров с Пушкиным – САМИМ Пушкиным!

Они получили эти замечательные разговоры в палатке у Раевского. Пушкин читал офицерам «Бориса Годунова» и отрывки из «Евгения Онегина», читал некоторые свои стихотворения. Понятно, было вино, были острые вопросы, были дискуссии. Интересную характеристику тогдашнего Пушкина мы находим у М.В. Юзефовича: «В своем тесном кругу бывали у нас с Пушкиным откровенные споры. Я был ярый спорщик, он тоже. Раевский любил нас подзадоривать и стравливать. Однажды Пушкин коснулся аристократического начала, как необходимого в развитии всех народов; я же щеголял тогда демократизмом. Пушкин, наконец, с жаром воскликнул: «Я не понимаю, как можно не гордиться своими историческими предками! Я горжусь тем, что под выборного грамотой Михаила Федоровича есть пять подписей Пушкиных».

Тут Раевский очень смешным сарказмом обдал его, как ушатом воды, и спор наш кончился. Уже после я узнал, по нескольким подобным случаям, об одной замечательной черте в характере Пушкина: об его почти невероятной чувствительности ко всякой насмешке, хотя бы самой невинной и даже пошлой. Против насмешки он оказывался всегда почти безоружным и безответным. < >

Во всех речах и поступках Пушкина не было уже и следа прежнего разнузданного повесы. Он даже оказывался, к нашему сожалению, слишком воздержным застольным собутыльником. Он отстал уже окончательно от всех излишеств... Я помню, как однажды один болтун, думая, конечно, ему угодить, напомнил ему об одной его библейской поэме, и стал было читать из нее отрывок; Пушкин вспыхнул, на лице его выразилась такая боль, что тот понял и замолчал. После Пушкин, коснувшись этой глупой выходки, говорил, как он дорого бы дал, чтоб взять назад некоторые стихотворения, написанные им в первой легкомысленной молодости. И ежели в нем еще иногда прорывались наружу неумеренные страсти, то мировоззрение его изменилось уже вполне и бесповоротно. Он был уже глубоко верующим человеком и одумавшимся гражданином, понявшим требования русской жизни и отрешившимся от утопических иллюзий».

Слова о глубокой вере Пушкина оставим на совести автора этих записок – они, к сожалению, бездоказательны, но то, что Пушкин к тому времени во многом переменился не вызывает сомнения. То, что он болезненно реагировал на любое упоминание о «Гавриилиаде» – тоже факт несомненно важный, что именно повергало поэта в грусть в этом и подобном ему случаях – мы не знаем, но несомненно это был стыд и раскаяние в совершённом поступке, и мы не можем тут в очередной раз не сказать о мере ответственности поэта и писателя за сказанное слово, которое в каждой читающей голове каждый раз отзывается, как впервые сказанное или впервые написанное. Мы не знаем, как Господь в таких случаях смотрит на покаяние автора – достаточно ли ему простой горечи и стыда за сделанное, или от нарушителя требуется нечто другое... «Что именно?» – спросите Вы. «Покаянный текст!» – ответим мы, и ответ наш будет предельно логичным – если некто совершил богопротивное деяние, то не будет ли полным искуплением этого деяния абсолютно противоположное и равное по силе ему действие? Написал богохульное творение? Напиши гимн Господу! Но мы не знаем пушкинского гимна

Господу, а поэт был кристально честен в своём творчестве, то есть – не было гимна, не было и глубокой веры – на то время... К сожалению...

Кстати, в тех же воспоминаниях Юзефовича есть любопытный эпизод о чтении Пушкиным Шекспира в оригинале – мы с Вами уже несколько раз говорили о тайных и упорных занятиях Пушкина по освоению английского языка. Вот рассказ живого свидетеля на эту тему: «С ним было несколько книг, и в том числе Шекспир. Однажды он, в нашей палатке, переводил брату и мне некоторые из него сцены. Я когда-то учился английскому языку, но, не доучившись как следует, забыл его впоследствии. Однако ж все-таки мне остались знакомы его звуки. В чтении же Пушкина английское произношение было до того уродливо, что я заподозрил его знание языка и решил подвергнуть его экспертизе. Для этого, на другой день, я зазвал к себе его родственника Захара Чернышева, знавшего английский язык, как свой родной, и, предупредив его, в чем было дело, позвал к себе и Пушкина с Шекспиром. Он охотно принялся переводить нам его. Чернышев при первых же словах, прочитанных Пушкиным по-английски, расхохотался: «Ты скажи прежде, на каком языке читаешь?» Расхохотался в свою очередь и Пушкин, объяснив, что он выучился по-английски самоучкой, а потому читает английскую грамоту, как латинскую. Но дело в том, что Чернышев нашел перевод его правильным и понимание языка безукоризненным».

Не повод ли это в очередной раз восхититься нашим гениальным поэтом?

Пушкин считал себя гостем Николая Раевского и почти всё время стремился проводить время с ним и с его офицерами, но в закавказской армии был человек, который считал, что Пушкин – это его гость. Этим человеком был генерал Иван Федорович Паскевич, главнокомандующий русской армией. Паскевич, повторимся, был любимцем императора. Верноподданный служака и очень удачливый военачальник, Паскевич был неплохим человеком, не лишённым обычных человеческих слабостей, и когда он вдруг узнал, что к нему едет Пушкин, он не без оснований предположил, что поэт непременно будет потом что-нибудь писать о своей поездке на войну, и там конечно же будут строки нём, о Паскевиче. Скорее всего по этой причине, и, возможно, по причине обычного гостеприимства Пушкин был принят очень радушно, ему было назначено разместить свою палатку возле генеральской ставки и поэта регулярно приглашали на завтраки и обеды к командующему. Вместо этого Пушкин всё время норовил ускользнуть к Раевскому и своему лицейскому другу Вольховскому, и проводить свои досуги там в надежде поучаствовать в каком-нибудь *деле*, говоря военным языком того времени. Но, по словам М.И.Пушина «...со всем желанием Пушкина убить или побить турка, ему уже на то не было возможности, потому что неприятель уже более нас не атаковал, а везде до самой сдачи без оглядки бежал, и все сражения, громкие в реляциях, были только преследования неприятеля, который бросал на дороге орудия, обозы, лагеря и отсталых своих людей. Всегда, когда мы сходились с Пушкиным у меня или Раевского, он бесился на турок, которые не хотят принимать столь желанного им сражения».

Пушкин с этим смириться никак не хотел и продолжал искать возможности для того, чтобы куда-нибудь вмешаться. Паскевич, видя это, и понимая, что в случае ранения или гибели Пушкина ему придётся выдержать немало неприятных разговоров, стремился этому помешать и старался удержать Пушкина при себе. Пушкин тоже видел это, и по свидетельству того же М. И. Пушина «не мог из вежливости оставить Паскевича, который не хотел его отпускать от себя не только во время сражения, но на привалах, в лагере, и вообще всегда, на всех герос и в свободное от занятий время за ним посылал и порядочно – по словам Пушкина – ему надоел».

Как Пушкин при своей детской непосредственности вёл себя с теми, кто ему поднадоел мы с Вами уже хорошо знаем. В то же самое время, мы снова напомним и том, что тайного полицейского надзора с него никто не снимал, и Паскевич об этом надзоре несомненно был извещён.

У генерала хватало информаторов в офицерской среде, которые подробно рассказывали ему о встречах Пушкина с разными людьми в военном лагере. Понятно, что акценты в этих докладах расставлялись так, как это принято в практике представления доносов – с затемнением личности поднадзорного и с осветлением личности доносителя. В конечном итоге Паскевич понял, что Пушкин его в определённой степени игнорирует и что он ведёт себя независимо, а это на взгляд генерала было недопустимо. Кроме этого, Пушкин вёл себя не вполне благонадёжно, время от времени встречаясь с офицерами, сосланными на Кавказ за участие в декабристском движении. Этих моментов генералу вполне хватило для принятия взвешенного с его точки зрения решения, которое настало примерно через месяц после прибытия Пушкина в действующую армию, практически сразу после взятия крепости Арзрум.

Эпизод последнего разговора Пушкина с Паскевичем описан Н.Б. Потокским со слов Вольховского так: «... главнокомандующий, видя, что Пушкин явно удаляется от него, призвал к себе в палатку (во время доклада бумаг Вальховского) и резко объявил:

– Господин Пушкин! Мне вас жаль, жизнь ваша дорога для России; вам здесь делать нечего, а потому я советую немедленно уехать из армии обратно, и я уже велел приготовить для вас благонадёжный конвой.

Вольховский передал мне, что Пушкин порывисто поклонился Паскевичу и выбежал из палатки, немедленно собрался в путь, попрощавшись с знакомыми и друзьями, и в тот же день уехал. Вольховский передавал мне под секретом еще то, что одною из главных причин недовольствия главнокомандующего было нередкое свидание Пушкина с некоторыми из декабристов, находившимися в армии рядовыми».

Перед самым отъездом Пушкина из армии оказалось, что в Арзруме обнаружилась чума, и Пушкин успел до некоторой меры вынужденно побывать в чумном лагере. Вскоре после этого, 21 июля, он выехал в Тифлис.

Обратная дорога оказалась более длинной – во-первых, у поэта не было никакого энтузиазма для ускорения движения, а во-вторых, из-за того, что он побывал в чумном лагере, Пушкин до прибытия в Тифлис обязан был пройти трёхдневный карантин, в котором он и пребывал в Гумрах недалеко от Тифлиса.

В Тифлис Пушкин приехал 1 августа и пробыл в нём пять дней. Второе пребывание поэта в Тифлисе ничем замечательным отмечено не было и 6 августа он вместе с М.И. Пуциным и Р.И. Дороховым выехал в Пятигорск. Пуцин поставил условие Пушкину, что он будет ехать с ним, если Пушкин до самого приезда на воды не будет играть в карты. Дорохову же, известному своим грубоватым нравом и любовью к битью собственных денщиков, Пуцин выставил другое условие: не распускать руки также до приезда на воды. Пушкин и Дорохов условия приняли и, забегая вперёд скажем, что оба они с трудом дотерпели до Пятигорска, причём Дорохов один раз всё-таки сорвался и за что-то побил и своего и пушкинского денщиков. В Пятигорск они ехали через Владикавказ, дорога до которого заняла пять дней. Во Владикавказе путешественники почти не задержались и после короткого отдыха продолжили своё движение в сторону водных источников.

Но, как оказалось, не воды манили к себе и Пушкина и Дорохова. Ещё за несколько дней Пушкин со спутниками достигли Пятигорска. По приезде в город Пуцин куда-то не надолго отлучился, а возвратившись, нашёл Пушкина и Дорохова играющими в карты. Поэт опять одно раздражение покрывал другим. По словам Пуцина, он довольно быстро проиграл тысячу(!) червонцев, одолженных им на дорогу у Раевского. Дальше дорога Пуцина и Пушкина лежала в Кисловодск, куда они приехали каждый по отдельности, в первую очередь потому, что Пушкин погрузился в картёжные события с головой.

В Кисловодске приятели снова встретились. Вот что пишет об этом Пуцин: «Приехал (Пушкин – прим. авт.) ко мне с твердым намерением вести жизнь правильную и много заниматься; приказал моему денщику приводить ему по утрам одну из лошадей моих и ездил

кататься верхом. Мне странно показалась эта новая прихоть; но скоро узнал я, что в Солдатской слободке около Кисловодска поселился Астафьев и Пушкин каждое утро к нему заезжал. Однажды, возвратившись с прогулки, он высыпал при мне несколько червонцев на стол. «Откуда, Пушкин, такое богатство?» – «Должен тебе признаться, что я всякое утро заезжаю к Астафьеву и довольствуюсь каждый раз выигрышем у него нескольких червонцев. Я его мелким огнем бью и вот сколько уже вытащил у него моих денег». (Именно Астафьеву в основном и были проиграны взятые у

Раевского деньги – прим. авт). Всего было им наиграно червонцев двадцать. Я ему предсказывал, что весь свой выигрыш он разом оставит в один прекрасный день. Узнал я это тогда, когда он попросил у меня 50 червонцев, ехавши на игру... Несмотря на намерение свое много заниматься, Пушкин, живя со мною, мало чем занимался. Вообще мы вели жизнь разгульную, часто обедали у Шереметева, Петра Васильевича, жившего с нами в доме Реброва. Шереметев кормил нас отлично и к обеду своему собирал всегда довольно большое общество. Разумеется, после обеда «в ненастные дни занимались они делом: и приписывали и отписывали мелом».

Там же Пушкин познакомился с неким Дуровым, братом знаменитой кавалерист-девицы Дуровой, который удивлял, развлекал и смешил Пушкина своим цинизмом. Пушкин проводил с Дуровым очень много времени, с удовольствием слушая его, как бы теперь сказали, «приколы». Однако, как оказалось впоследствии, приколы свои Дуров рассказывал Пушкину не зря – он был картёжным шулером и обыграл Пушкина в карты на пять тысяч рублей, взятых им на дальнейшую дорогу до Москвы у казачьего атамана Иловайского.

Почти месячное пребывание на водах завершилось выездом поэта в Москву 8 сентября 1829 года. В двенадцать дней поэт добрался до первопрестольной, и приехав туда сразу же заехал в дом Натальи Гончаровой. Неожиданно для себя он там не встретил, а по современной молодёжной терминологии «нарвался» на очень холодный приём Натальи Ивановны. Она приняла потенциального соискателя руки своей дочери в постели – для этого у неё было формальное основание, поскольку Пушкин заехал к Гончаровым не совсем в урочный час, но по правилам тогдашнего времени приём человека в постели означал некую степень пренебрежения к нему, и Пушкин, как человек великосветский, это прекрасно понимал. Заметим, что саму Наталью Николаевну поэту во время его визита вообще не показали.

Что же подтолкнуло Наталью Ивановну к такой встрече Пушкина? Она прекрасно понимала, что взрослый поэт с устоявшейся репутацией – далеко не лучшая партия для чистой девушки с выдающейся красотой, и последние несколько месяцев подарили старшей Гончаровой надежду на то, что кто-то из богатых московских юношей проявит серьёзный интерес к Наталье Николаевне, несмотря на её положение бесприданницы. Наталья Ивановна хотела устроить дочь как можно лучше, и Пушкин на том этапе жизни семьи Гончаровых не совсем подходил для брачной задачи так, как её видела Наталья Ивановна.

Мы не знаем, что Пушкин почувствовал после встречи с матерью юной Натали, но в Москве он решил на некоторое время задержаться и поселился в гостинице «Англия». Оттуда он снова взялся ездить к Ушаковым, где весело проводил время (опять же, насколько искренен он был в своей этой весёлости мы тоже никогда не узнаем). У Ушаковых он продолжил дурачиться, писать стихи и рисовать карикатуры в альбомы. Тогда же он составил свой знаменитый «донжуанский список», в одной части которого перечислены имена женщин и девушек, которыми он увлекался сильно, а во второй части – имена тех женщин и девушек, которыми он просто был увлечён. Интересно, что ни в первой, ни во второй части списка Вы не найдёте имени «Каролина», которое и будет тем самым утаённым именем, о котором так яростно проспорило не одно поколение пушкинистов.

В доме Ушаковых к тому времени уже многое определилось в отношении младшей сестры, Елизаветы Николаевны, которая была очень сильно влюблена в молодого полковника

С.Д.Киселёва, и который также сильно был влюблён в неё. Дело постепенно шло к свадьбе, и нежные отношения между будущими супругами

были предметом постоянных общих шуток и многочисленных пушкинских карикатур в альбомах обоих сестёр. Таким же предметом столь же многочисленных шуток было отношение Пушкина к Гончаровой, которую он в разговорах с Ушаковыми называл Карсом по имени неприступной турецкой крепости, а Наталью Ивановну по этой же причине называл матерью Карса. Тогда же Пушкин подарил Ушаковой книгу своих стихотворений с надписью: «Всякое даяние благо, всяк дар совершен свыше есть. Катерине Николаевне Ушаковой. От А. П. 21 сентября 1829 г. Москва. *Nee femina pes ruet (ни женщина, ни мальчик – пер. с франц.)*». Она с благодарностью приняла подарок.

Мы не знаем, что думал и чувствовал Пушкин о своём отношении к Ушаковой в те дни, но мы легко можем понять, что думала и чувствовала Ушакова в отношении Пушкина. В этих двух чувствах была большая разница. Был ли Пушкин абсолютным джентльменом в этом случае, пусть каждый читатель этой книги решит для себя сам.

Между тем осень была в полном разгаре. Пушкин знал, что его зовут к себе литературные труды, зовёт очередная глава «Евгения Онегина», в которой он должен был описать путешествие героя, но голоса вдохновения поэт в себе пока не чувствовал. В надежде на то, что желанное состояние придёт к нему в процессе свободного деревенского отдыха, Пушкин выехал 12 октября в Малинники. Там он встретил уже традиционный радушный приём, слегка поволочился за томной Нетти, поулыбался Анне Николаевне, понежился на покое, попробовал писать «Онегина» и что-нибудь ещё, но к концу третьей недели понял, что волна вдохновения в этот раз его не посетит.

Пушкин захотел в столицу, и в начале ноября покинул гостеприимные Малинники. Где-то между 5 и 10 ноября он уже был в Петербурге, где традиционным для себя образом поселился в гостинице у Демута.

Здесь его нашло письмо Бенкендорфа, адресованное поэту ещё три недели назад, но не вручённое ему по причине пушкинских движений по русским просторам. Письмо гласило: «Государь император, узнав, по публичным известиям, что вы, милостивый государь, странствовали за Кавказом и посещали Арзерум, высочайше повелеть мне изволил спросить вас, по чьему позволению предприняли вы сие путешествие. Я же с своей стороны покорнейше прошу вас уведомить меня, по каким причинам не изволили вы сдержать данного мне слова и отправились в закавказские страны, не предупредив меня о намерении вашем сделать сие путешествие».

Это была самая настоящая выволочка, от которой отвертеться просто так было невозможно. На формальном уровне правота Бенкендорфа виделась стопроцентной: Тифлис был внутренней территорией России и Пушкин свободно мог ехать до него и обратно, но Карс и Арзрум были территорией Турции, Пушкин без разрешения властей пересёк государственную границу и присоединился к действующей армии без разрешения верховного главнокомандующего... Серьёзные ответные аргументы найти было чрезвычайно трудно, оставалось только извиняться и искать глупоавтые оправдания своему поведению, что Пушкин и попытался сделать в ответном письме Бенкендорфу. Он написал: «С глубочайшим прискорбием я только что узнал, что его величество недоволен моим путешествием в Арзрум. Снисходительная и просвещенная доброта вашего превосходительства и участие, которое вы всегда изволили мне оказывать, внушает мне смелость вновь обратиться к вам и объясниться откровенно.

По прибытии на Кавказ я не мог устоять против желания повидаться с братом, который служит в Нижегородском драгунском полку и с которым я был разлучен в течение 5 лет. Я подумал, что имею право съездить в Тифлис. Приехав, я уже не застал там армии. Я написал Николаю Раевскому, другу детства, с просьбой выхлопотать для меня разрешение на приезд в лагерь. Я прибыл туда в самый день перехода через Саган-лу и, раз я уже был там, мне показа-

лось неудобным уклониться от участия в делах, которые должны были последовать; вот почему я проделал кампанию в качестве не то солдата, не то путешественника.

Я понимаю теперь, насколько положение мое было ложно, а поведение опрометчиво; но по крайней мере здесь нет ничего, кроме опрометчивости. Мне была бы невыносима мысль, что моему поступку могут приписать иные побуждения. Я бы предпочел подвергнуться самой суровой немилости, чем прослыть неблагодарным в глазах того, кому я всем обязан, кому готов пожертвовать жизнью, и это не пустые слова.

Я покорнейше прошу (и так далее – прим.авт.)...»

Таким образом Пушкин дал формальное объяснение своему поступку, но окончательно ситуация разрешилась только через несколько недель, когда Пушкин встретился с государем на одном из светских мероприятий и там Николай Павлович спросил у поэта как он смел приехать в армию. Пушкин отвечал, что главнокомандующий позволил ему. Государь возразил ему: «Надобно было проситься у меня. Разве не знаете, что *армия моя?*»

Пушкин в очередной раз был вынужден признать ошибку, и государь простил его, но как показали дальнейшие события, не забыл ему его неосмотрительности.

Чем Пушкин занимался в те дни в столице? Тем, чем и планировал заниматься, выезжая из Малинников – он посещал светские салоны, которые (повторимся) вопреки навязанному мнению советских пушкинистов, он очень любил посещать. По старой своей привычке он мог отправиться «к сводням», а попросту говоря – в публичный дом, встречался с литераторами – чаще у Дельвига, и по четвергам – у Греча, с которым в ту пору он был в весьма приязненных отношениях и, конечно же, поэт продолжал играть в карты...

В книге Вересаева «Пушкин в жизни» мы находим такое его письмо, адресованное московскому богачу И.А. Яковлеву: «Тяжело мне быть перед тобою виноватым, тяжело и извиняться... Ты едешь на днях, а я все еще в долгу. Должники мои мне не платят, и дай бог, чтоб они вовсе не были банкроты, а я (между нами) проиграл уже около 20 тыс. Во всяком случае ты первый получишь свои деньги».

Вересаев датирует это письмо ноябрём 1829 года, в пушкинском десятитомнике это же письмо мы видим датированным мартом – апрелем того же года. С огромным сожалением мы вынуждены признать, что точная датировка этого письма для нас не имеет принципиального значения – даже если правы составители десятитомника и не прав Вересаев, и без него есть достаточно свидетельств того, что Пушкин очень активно играл в карты по возвращении в Петербург из Малинников осенью 1829 года, и тут мы не можем не затронуть ещё одного аспекта картёжной игры.

Давайте задумаемся вот над чем: а что же лежит в основе картёжной игры «на интерес»? Ведь Пушкин всегда играл «на интерес» – нигде нет указаний на то, что он садился за стол поиграть «просто так» – даже играя почти в шутку в Тригорском с Прасковьей Осиповой . всё равно на кон ставились какие-то копейки. Что даёт человеку игра в карты на деньги? Она даёт возможность выигрыша, возможность приобретения некоего богатства совершенно лёгким путём – ведь для получения денег в этом случае совершенно не нужно трудиться, напрягаться, чего-то делать, в чём-то себе отказывать – Её Величество Удача всё сама расставит на свои места, нужно просто решиться сесть за стол и сделать правильную ставку. Конечно, не помешает в этом случае и немного умения, но

этому умению не сложно выучиться, зато какие преимущества оно несёт с собой!

Однако, игрок не играет сам с собой – деньги, на которые он так рассчитывает, принадлежат другому человеку, который тоже хочет выиграть, значит в этом случае неминуемо столкновение интересов и поражение одной из сторон. При игре в карты таким образом обязательно нужно решиться забрать деньги у другого человека просто потому, что они тебе в данном случае нужнее, но ведь так думают все жадные люди – деньги должны быть у них просто потому,

что они им нужнее, чем кому-либо ещё. Итак, в основе картёжной игры на интерес лежит банальная жадность. К сожалению это так...

«Помилуйте!» – воскликнет Некто из читателей этой книги. «Помилуйте! Пушкин – и жадность?! В своём ли Вы, уважаемый автор уме? Вы сами много раз писали, что Пушкин по чувствам был совершенным ребёнком, а потому жадность ему была не свойственна, и играл он из совершенно иных побуждений – он искал разрядки своим страстям! Ну... а деньги ему просто действительно иногда были нужны, и где же, как не в картах ему было их поискать? В конце концов, при игре в карты всё происходит по взаимному согласию, там никто никого не грабит и не убивает, все друг с другом вежливы и почтительны. Карты – личное дело каждого – кто как хочет, тот так и отдыхает!..»

Мы не будем отчаянно спорить с этой точкой зрения в отношении именно Пушкина – может быть, он действительно иногда искал в картах утolenия каких-то страстей, но ведь дело в том, что сама суть игры в карты на деньги подразумевает культивирование жадности и культивирование стремления легко получить не заработанные деньги. Получается так, что если даже ты подходишь к столу с каким-то совершенно другими мыслями, суть процесса рано или поздно захватит тебя, и ты всё равно станешь рабом страсти, заложенной в это действие изначально. Кроме того, не будем забывать, что начинал играть в карты Пушкин именно ради денег, находясь в крайне стеснённых обстоятельствах и надеясь поправить своё положение за счёт обыгрыша более неудачливых оппонентов. Напомним всем читателям этой книги, что для утolenия разгулявшихся страстей кроме карт существует множество других способов, как то: фехтование на эспадронах, конные скачки, купание в ледяной воде, строгий церковный пост, стрельба из пистолета, заряженного клюквой в лоб условному противнику, игра на семиструнной гитаре и так далее, и тому подобное. Пушкин выбрал именно карты.

Печально, но любая систематическая привязанность к удовлетворению своей не очень хорошей страсти – в данном случае (кто бы и что об этом ни говорил) – жадности, сушит душу. Любая страсть превращает её носителя в своего раба, обречённого ради этого добровольного рабства не раз и не два отказаться от чего-то доброго и светлого в пользу избранного служения этой страсти. Сказанное в полной мере относится к алкоголизму, к наркомании и конечно же – к игромании, одной из разновидностей которой и страдал великий русский поэт. Она не была губительной для него, но она разрушала его, она подтачивала его силы – ведь не случайно он не написал ничего крупного по возвращении с Кавказа – мы ведь помним, как он играл на водах. Мне скажут: «Его расстроил Паскевич!» А я спрошу в ответ: а он не расстроил Паскевича, позволившему ему быть в армии мимо разрешения из Петербурга? Не квиты ли они с Паскевичем? Стоило ли глушить голос разума и совести, спуская сотнями золотые червонцы за суконным столом?

1829 год Пушкин завершил в столице, ведя привычный и приятный для себя образ жизни. Год выдался насыщенным, во многом – интересным, поэт написал пару десятков отличных мелких стихотворений, но крупного ничего сделать не смог, и осень этого года была новым неприятным звонком для его творческой натуры, звонком, который он, скорее всего, чётко не расслышал.

Глава седьмая.

Что выбор? Выбор – расставанье,

И выбор – встреча... Это – так!

Пушкин не любил разговоров о поэзии с малознакомыми людьми и не любил аналогичных разговоров с людьми, не входившими в литературный круг, но избежать этих разговоров он не мог в силу своего положения литературного бога, если угодно, и в силу своей известности. Иногда ему кто-то мог сделать удачный комплимент, а иногда поэту приходилось пожирать горькие плоды своей популярности. Мы уже говорили с Вами о неприятном для Пушкина эпизоде с чтением отрывка из «Гавриилиады» во время его путешествия на Кавказ, но следует заметить, что подобные эпизоды периодически случались с ним и в Москве и в Петербурге. Соболевский в своих воспоминаниях пишет, что он помнит, «как Пушкин глубоко горевал и сердился при всяком, даже нечаянном напоминании об этой прелестной пакости (*«Гавриилиаде» – прим. авт*)».

В воспоминаниях А.С. Норова есть рассказ о том, как Норов вместе с В.И. Туманским, приятелем Пушкина встретились с поэтом в столице в конце 1829 года. При этом Туманский сказал поэту: «Знаешь ли, Александр Сергеевич, кого ты обнимаешь? Ведь это твой противник. В бытность свою в Одессе, он при мне сжег твою рукописную поэму». Дело в том, что Туманский дал Норову прочесть в рукописи «Гавриилиаду». В комнате тогда топился камин, и Норов, по прочтении пьесы, тут же бросил ее в огонь. «Нет, – сказал Пушкин, – я этого не знал, а узнав теперь, вижу, что Авраам Сергеевич не противник мне, а друг, а вот ты, восхищавшийся такою гадостью, настоящий мой враг».

Кто-то, читая об историях, связанных с «Гавриилиадой» и случившихся уже после 1828 года, то есть, после закрытия дела об авторстве поэмы может сказать: «Но ведь дело было закрыто, Пушкин не был признан автором поэмы. Отчего же тогда вообще могли возникнуть все эти эпизоды?» Но всё дело в том, что вся читающая Россия прекрасно знала о том, кто был истинным автором поэмы, и комиссия это прекрасно знала, и Пушкин знал, что комиссия знала. Из всего расследования нужен был только благоприятный выход, который был достигнут благодаря честности Пушкина, проявленной им, так сказать, в ограниченном объёме, ну, и последовавшей за этим монаршей милости. Что же касается неприятных ситуаций, в которые попадал поэт в качестве автора «Гавриилиады», то они как раз и были связаны с тем, что честность была проявлена в ограниченном объёме – будь по иному, не надо было бы горевать на глазах у почитателей непристойного произведения, – они бы и сами узнали о покаянии автора, как в своё время узнали о создании им так понравившейся некоторым читателям поэмы.

Новый 1830 год в литературной жизни тогдашней России ознаменовался важным событием – друг Пушкина Антон Дельвиг получил разрешение на издание «Литературной газеты». И для самого Дельвига, и для Пушкина это было в высшей степени значимое дело. Первый номер газеты вышел первого января и планировалось, что она будет выходить один раз в пять дней.

Так получилось, что почти сразу после выхода первого номера Дельвиг был вынужден отлучиться из Петербурга и в роли редактора газеты на некоторое время оказался Пушкин, которому очень интересно было попробовать себя в этом качестве. Сразу скажем, что Пушкин

с задачей достойно справился и отредактировал несколько номеров газеты, не забывая при этом о собственных интересах, а он, как это у него водилось к тому времени начал временами потихоньку в Петербурге во-первых – скучать, а во-вторых – задумываться о новом путешествии, желательно – за границу, поскольку остро чувствовал нужду в

новых впечатлениях для дальнейшей работы.

7 января поэт написал Бенкендорфу письмо с такими просьбами: «Покамест я еще не женат и не зачислен на службу, я бы хотел совершить путешествие во Францию или Италию. В случае же, если оно не будет мне разрешено, я бы просил соизволения посетить Китай с отправляющимся туда посольством.

Осмелюсь ли еще утруждать вас? В мое отсутствие г-н Жуковский хотел напечатать мою трагедию, но не получил на то формального разрешения. Ввиду отсутствия у меня состояния, мне было бы затруднительно лишиться полутора десятков тысяч рублей, которые может мне доставить моя трагедия, и было бы прискорбно отказаться от напечатания сочинения, которое я долго обдумывал и которым наиболее удовлетворен».

Заметим вместе с Вами, что в этом письме за просьбой отправиться за границу сразу следует вторая просьба – о печатании трагедии. Пушкин уже не был наивным юнцом и прекрасно понимал, что ему легко могут отказать в разрешении поехать за границу, но в этом случае отказавшая сторона просто обязана была разрешить печатание поэмы – в противном случае отношение власти к поэту выглядело бы какой-то чрезмерно суровой обструкцией.

Пушкин, как всегда, печатал свои мелкие стихотворения в различных, немногочисленных тогда изданиях. В начале января в дельвиговских «Северных цветах» увидело свет стихотворение «Дар напрасный, дар случайный», о котором мы с Вами уже говорили. Напомню, что Пушкин написал это стихотворение в мае 1828 года и наконец решил его напечатать. Стихотворение попало на глаза выдающемуся архиерею Русской православной церкви, митрополиту Московскому и Коломенскому Филарету (Дроздову). Митрополит, прекрасно понимая значение поэзии в воспитании человеческой личности и также замечательно оценивая значение Пушкина в русской поэзии, решил ответить на послание Пушкина – ведь каждое стихотворение является посланием кому-либо, или многим людям сразу. Вот текст ответа митрополита Филарета:

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога нам дана,

Не без воли Бога тайной

И на казнь осуждена.
Сам я своенравной властью

Зло из темных бездн воззвал,

Сам наполнил душу страстью,

Ум сомненьем взволновал.
Вспомнись мне, забвенный мною!

Просияй сквозь сумрак дум, –

И созиждется Тобою

Сердце чисто, светел ум.

Об ответе митрополита на его стихотворение Пушкин узнал от Хитрово, которая с благоговением ему сообщила об этом. Пушкин безусловно был удивлён и озадачен – ещё никто критикой и поучением не отвечал ему в стихотворной форме на его несомненно удачное произведение, а «Дар напрасный» несомненно было удачным произведением – просто мы с Вами уже говорили о том, с какой стороны происходила инспирация этого стихотворения – хотел того поэт, или не хотел.

Да, это была критика со стороны митрополита, но какая! С такой критикой

Пушкин ещё не сталкивался – обычно литературные оппоненты со скрытым торжеством или недоброжелательством указывали ему на действительные или мнимые недостатки его произведений, здесь же было совершенно иное – митрополит в классической стихотворной форме обратился не к строкам автора, а непосредственно к самому поэту, воззвал к его личности, и сделал это в истинно христианской манере – с неподдельной любовью, и мы в этом случае конечно же простим владыке неправильную расстановку пары цезур в отдельных строках – это не так уж важно в столь серьёзном случае.

Пушкин просто обязан был отозваться. Первая его реакция в ответном письме к Хитрово была деланно поверхностной: «Стихи христианина, русского епископа, в ответ на скептические куплеты! – это, право, большая удача». Своё стихотворение таким образом Пушкин оценил всего лишь, как скептические куплеты – тут он несомненно немного слукавил – такие стихотворения не пишутся просто на потребу уважаемой публике, они идут изнутри, но признать духовную инспирацию своего стихотворения означало признать такую же инспирацию стихотворения митрополита Филарета и вслед за этим сразу же признать своё духовное поражение – на это Пушкин пойти без потери лица, таким, каким он его видел в том окружении, в котором он находился, не мог. Но Филарет зацепил поэта, и 19 января 1830 года он ответил! Вот этот ответ:

В часы забав иль праздной скуки,

Бывало, лире я моей

Вверял изнеженные звуки

Безумства, лени и страстей.

Но и тогда струны лукавой

Невольно звон я прерывал,

Когда твой голос величавый

Меня внезапно поражал.

Я лил потоки слез нежданных,

И ранам совести моей

Твоих речей благоуханных

Отраден чистый был елей.

И ныне с высоты духовной

Мне руку простираешь ты,

И силой кроткой и любовной

Смиряешь буйные мечты.
Твоим огнем душа согрета

Отвергла мрак земных сует,

И внемлет арфе Филарета

В священном ужасе поэт.
(В другой редакции:
Твоим огнем душа палима

Отвергла мрак земных сует,

И внемлет арфе серафима

В священном ужасе поэт.)

Стихотворный ответ Пушкина на ответ ему Филарета написан блистательно – в который раз скажем, что по другому он просто писать к тому времени давно уже не умел.

К этому тексту мы можем отнестись двояко: Пушкин был вхож в высшие круги общества, знал нормы этикета и мог написать комплиментарное стихотворение, поскольку в некоторой степени был обязан его написать. Так вполне могло произойти, но хочется верить в то, что живой и глубокий посыл великого русского архиерея нашёл хотя бы временный отклик в сердце поэта и побудил написать его искренние строки. Кто-то, читая мои слова возмутится, и спросит, почему автор говорит о временном отклике? Поэт ведь мог встать после послания митрополита на новую духовную ступень! Мы ответим: да, мог, и тут же спросим: а встал ли?

Когда мы пытаемся совершить некое благое духовное движение, и даже делаем первый шаг на пути к его совершению, мы обычно чувствуем духовный подъём, нам кажется, что мы изменились и дальше нам удастся идти по более правильному пути уже просто потому, что мы смогли что-то осознать по новому. Но вслед за этим почти сразу начинается то, что в церкви принято называть искушениями: вдруг являются некие острые обстоятельства, в которых нам приходится проявить свою сущность, и мы с удивлением для себя начинаем обнаруживать, что не сильно то мы и изменились, что наши новые понятия оказались весьма не крепки, а вот наши прежние привычки и подходы – наоборот, весьма крепки, и через несколько дней и недель вдруг оказывается, что мы ведём себя по прежнему, или – почти по прежнему, и от нас требуется очень большое упорство, чтобы вновь пробиться к самим себе, туда, где мы уже были несколько дней или недель назад. Если Пушкин искренне отвечал Филарету, скорее всего, с ним в те дни могло произойти нечто похожее.

17 января он получил неутешительный для себя ответ от Бенкендорфа, который гласил: «В ответ на ваше письмо 7 января, спешу известить вас, что Е. В. Государь Император не удостоил снизойти на вашу просьбу посетить заграничные страны, полагая, что это слишком расстроит ваши денежные дела и в то же время отвлечет вас от ваших занятий. Ваше желание сопровождать нашу миссию в Китай также не может быть удовлетворено, так как все служащие уже назначены».

Что ни говори, а неосмотрительная поездка на театр военных действий здорово повредила поэту – об этом в письме не говорилось ни слова, но догадаться об одной из истинных причин отказа было совершенно несложно, а фраза о не слишком устроенных денежных делах

была намёком на разные обстоятельства, в том числе – и на последствия систематической картёжной игры, о чём, вне всякого сомнения, были отлично информированы и Бенкендорф, и государь.

Пушкин постарался ничем внешне не показать своего расстройств и на следующий день отправил Бенкендорфу письмо, в котором ни словом не помянул о своих потребностях. Вот отрывок из него: «Боже меня сохрани единым словом возразить против воли того, кто осыпал меня столькими благодеяниями. < >

Весьма не вовремя приходится мне прибегнуть к благосклонности вашего превосходительства, но меня обязывает к тому священный долг. Узами дружбы и благодарности связан я с семейством, которое ныне находится в очень несчастном положении: вдова генерала Раевского обратилась ко мне с просьбой замолвить за нее слово перед теми, кто может донести ее голос до царского престола. То, что выбор ее пал на меня, само по себе уже свидетельствует, до какой степени она лишена друзей, всяких надежд и помощи. < > Г-жа Раевская

ходатайствует о назначении ей пенсии в размере полного жалования покойного мужа, с тем чтобы пенсия эта перешла дочерям в случае ее смерти. Этого будет достаточно, чтобы спасти ее от нищеты».

Заметим, что пенсия вдове генерала Раевского в итоге была назначена, и таким образом великий поэт выполнил свою благородную миссию.

На этом, однако, письменное общение с Бенкендорфом не закончилось – ещё через несколько дней после бала у французского посла, на котором в числе других приглашённых был и Пушкин, он получил такое письмо: «Государь император заметил изволил, что Вы находились на бале у французского посла во фраке, между тем как все прочие приглашенные в сие общество были в мундирах. Как же всему дворянскому сословию присвоен мундир тех губерний, в коих они имеют поместья, или откуда родом, то его величество полагать изволил приличнее русскому дворянину являться в сем наряде в подобные собрания».

Письмо было писано Бенкендорфом, а причиной его был разговор Бенкендорфа на балу с императором – что поделывать, государь любил порядок во всём, но Пушкин не любил мундиры, он и фраки-то не очень любил. На это письмо Бенкендорфа поэт никак не ответил и, насколько нам известно, дворянский мундир заводить себе не поспешил, хотя, как говорится, осадочек от этого письма у него несомненно остался.

Между тем, раздражение от неприятного для него оборота дел Пушкин стал преодолевать не с помощью нового для него способа, открытого ему митрополитом Филаретом, а с помощью более привычной для него процедуры, о чём мы находим в тогдашнем письме поэта к Судиенке такие слова: «Здесь у нас, мочи нет, скучно; игры нет, а я все-таки проигрываюсь... Покамест умираю со скуки».

Карты при этом не успокаивают Пушкина – он много думает о возможной будущей женитьбе, и в связи с этим – о двух девушках, которые могут стать его невестами. Почти тогда же он пишет в Москву письмо Вяземскому в котором спрашивает: «Правда ли, что моя Гончарова выходит за архивного Мещерского? Что делает Ушакова, моя же? Я собираюсь в Москву – как бы не разъехаться».

И тут явилось ещё одно мощное искушение – в Петербург приехала Каролина Собаньская! Сказать, что Пушкин при этом потерял покой – ничего не сказать. В нём в те дни загорелся такой огонь, который редко горел даже в его страстной душе. Может быть успех, который он имел в романе с Закревской добавил ему сил и надежд, а может быть – надежда на то, что его теперешняя слава поможет ему найти дорогу в желанную постель двигали им в те дни – нам и этого не узнать, но старая страсть вспыхнула в поэте с новой силой. В один и тот же день, 2 февраля, он пишет и отправляет Собаньской два письма. Вот первое: «Сегодня 9-я годовщина дня, когда я вас увидел в первый раз. Этот день был решающим в моей жизни.

Чем более я об этом думаю, тем более убеждаюсь, что мое существование неразрывно связано с вашим; я рожден, чтобы любить вас и следовать за вами – всякая другая забота с моей стороны – заблуждение или безрассудство; вдали от вас меня лишь грызет мысль о счастье, которым я не сумел насытиться. Рано или поздно мне придется все бросить и пасть к вашим ногам. Среди моих мрачных сожалений меня прельщает и оживляет одна лишь мысль о том, что когда-нибудь у меня будет клочок земли в Крыму (?). Там смогу я совершать паломничества, бродить вокруг вашего дома, встречать вас, мельком вас видеть...»

А вот второе: «Вы смеетесь над моим нетерпением, вам как будто доставляет удовольствие обманывать мои ожидания, итак я увижу вас только завтра – пусть так. Между тем я могу думать только о вас.

Хотя видеть и слышать вас составляет для меня счастье, я предпочитаю не говорить, а писать вам. В вас есть ирония, лукавство, которые раздражают и повергают в отчаяние.

Ощущения становятся мучительными, а искренние слова в вашем присутствии превращаются в пустые шутки. Вы – демон, то есть *тот, кто сомневается и отрицает*, как говорится в Писании.

В последний раз вы говорили о прошлом жестоко. Вы сказали мне то, чему я старался не верить – в течение целых 7 лет. Зачем?

Счастье так мало создано для меня, что я не признал его, когда оно было передо мною. Не говорите же мне больше о нем, ради Христа. – В угрызениях совести, если бы я мог испытать их, – в угрызениях совести было бы какое-то наслаждение – а подобного рода сожаление вызывает в душе лишь яростные и богохульные мысли.

Дорогая Эллена, позвольте мне называть вас этим именем, напоминающим мне и жгучие чтения моих юных лет, и нежный призрак, прельщавший меня тогда, и ваше собственное существование, такое жестокое и бурное, такое отличное от того, каким оно должно было быть. – Дорогая Эллена, вы знаете, я испытал на себе все ваше могущество. Вам обязан я тем, что познал все, что есть самого судорожного и мучительного в любовном опьянении, и все, что есть в нем самого ошеломляющего. От всего этого у меня осталась лишь слабость выздоравливающего, одна привязанность, очень нежная, очень искренняя, – и немного робости, которую я не могу побороть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.